



Юрий Аракчеев

Яркие пятна солнца

18+

Юрий Аракчеев

Яркие пятна солнца

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Аракчеев Ю. С.

Яркие пятна солнца / Ю. С. Аракчеев — «ЛитРес: Самиздат», 2019

«Есть только одна истинная сила в жизни, и эта сила – радость» – гласит восточная мудрость. И это верно! Конечно, есть много и грустного в нашей жизни, но главное – радость! Именно она есть смысл нашей жизни, именно она – наш золотой фонд. И она помогает нам в трудные минуты, которые, конечно же, есть у каждого. В этот сборник вошли мои первые рассказы и маленькие повести, опубликованные и неопубликованные. О встречах с природой, о любви, о красоте окружающей нас жизни.

Содержание

Зимняя сказка	5
Запах берез	10
Листья	13
Яркие пятна солнца	16
Вестница	21
1	21
2	28
3	32
Отзвук песни	35
Поликсена	41
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Зимняя сказка

Тикают ходики. На них – половина второго. Ночь. Андрей Гаврилыч уже встал, поблескивает очками, одевается. Керосиновая лампа освещает угол печки, деревянный стол, табуретку. Все кажется желтым. На столе шумит самовар. Хозяйка приготовила его еще с вечера, а теперь встала, кряхтя, раньше всех и разожгла угли. Проснулась кошка и, мяукнув, стукнула об пол всеми четырьмя лапами – спрыгнула с печки. Надо кинуть ей кусочек колбасы.

Андрей Гаврилыч снова опередил меня: выпил чай и уже собирает свой чемоданчик. С нами пойдет хозяин, старик с большой рыжей бородой.

Пальто очень тяжелое – сразу становится жарко. Загремела задвижка. Хозяйка провожает нас с лампой. Пискнула дверь, пахнуло морозным воздухом.

– Эка, вывездило как! – глухо доносится голос старика-хозяина.

Валенки сухо скрипят по снегу. У нас с Гаврилычем специальные рыболовные чемоданчики на полозьях. Дед ничего не берет с собой – на чем же он будет сидеть около лунки? Мороз щиплет ноздри, сковывает щеки. В избе еще горит огонек. Сейчас хозяйка погасит лампу и ляжет спать.

А мы вступили в огромный холодный мир. Щедро светит луна. Наши голоса звучат тихо, но разносятся далеко, и тишина от этого кажется еще более полной и немного пугающей. Все голубое, и чудится, что все вокруг околдовано лунным светом, что избы, луна, деревья и даже заиндевевшие провода замерли не просто так: они разыгрывают таинственное представление. Темные дома деревни – даже окон не разглядишь – загадочно насторожились. Ни ветерка, ни звука.

Первым шагает дед. За ним торопится Гаврилыч. Его чемоданчик катится мягко, иногда сползает в сторону. Я последний. Дорога блестит призрачным светом, повизгивает слежавшийся снег. Декорации двух цветов – черного и голубоватого...

Мы идем уже очень давно. Луна ушла дальше, скрылась за лесом – у нее там, наверное, другие дела. Но оказывается теперь, что и без луны можно различить спину Гаврилыча, деда с палкой, дорожку. Откуда-то сочится неуверенный свет: робко вырисовываются осинки, мохнатые лапы елей, хрупкие кружева кустарника. Откуда он, этот свет? Может быть, снег начинает светиться?... Становится еще светлее, бледнеет небо – и все теперь просто и ясно.

Справа над верхушками елей начинает краснеть, словно зарево. Или кто-то зажег огромный костер?... Опять – как в сказке: сейчас придет волшебник... В прозрачно-зеленой глубине одна за другой тонут звезды. Снег зеленоватый и тени на нем зеленые. Выплыли из-за леса багряные облачка, выстроились, словно придворные, для встречи Волшебника... Чиркнуло поверху, и загорелись, засверкали заснеженные макушки деревьев. Тотчас ворохнулась какая-то птица на ветке, заверещала радостно. С ветки посыпался снег...

Лес неожиданно кончился. Перед нами, чуть внизу, большое белое поле, ровное и нестерпимо яркое на солнце. Водохранилище. Тысячи, миллионы снежинок – и каждая сверкает отдельно от других, отражает блеск солнца, переливается в его лучах. Множество радуг. Мы спускаемся и идем по нетронутomu снегу. На том берегу за четкой строчкой кустов толпятся деревенские избышки. Крайняя изба стоит у самого берега. Блестит заснеженная крыша, из трубы вьется дымок. Он поднимается вверх сизым султаном – примета, что день будет хорошим. А дальше, за деревней, туманная линия леса. Вот он, волшебник – Солнце. Пришел и расколдовал...

Почти у самого берега дед останавливается.

– Начне-о-ом, пожа-алуй, – нараспев говорит Гаврилыч.

– Начне-о-ом! – тянем мы хором.

Становится весело. Гаврилыч плюет на руки и первым начинает долбить лед. Я долблю шагах в двадцати от него. Скоро в лунку с шумом вливается вода. Я достаю удочку, усаживаюсь на чемоданчике, насаживаю на крючок мормышки рубинового мотыля.

Я знаю: предстоит день морозный и яркий. Предстоит день полный чудес.

Чудеса начинаются сразу. Первое чудо – лунка. Ее зеленоватое пятно многозначительно темнеет среди ледяных осколков. Это – окно в неведомый мир. Мне представляется, как там, в тусклой оливковой глубине, среди причудливых зарослей подводных растений, плавают рыбы. Полосатые окуни с красными плавниками, серебряные плотицы, щуки – я видел их во сне. Да-да, я вспоминаю, как именно прошлой ночью в избе видел огромных глазастых рыб, которые с жадностью набрасывались на мою мормышку, дергали во все стороны, мешали друг другу...

На конце гибкого можжевелевого удилища поблескивает серый хоботок пружинки. Из хоботка выбегает леска и скрывается в воде. В глубине – мормышка. Все это – от мормышки до моего плеча – представляет собой чуткий механизм: стоит рыбе коснуться наживки – пружинка качнется, и рука мгновенно сделает подсечку. Однако поклевки почему-то нет.

Я смотрю вокруг. Все так ярко, что больно смотреть. Слева от меня, сгорбившись, сидит Гаврилыч. Он неподвижен: вероятно, тоже нет клева. Дед стоит сзади, шагах в двадцати, и сосредоточенно «блеснит». Кусочек бороды его освещен солнцем и горит так, что мне кажется: деду жжет подбородок.

Вдруг рука моя ощущает слабый толчок. Механизм срабатывает, и я чувствую, как натянулась леска... Подпрыгивает сердце, останавливается и, лишь когда я вытаскиваю маленького окунишку, начинает снова биться. Он невзрачный, полосатый – граммов на двадцать – однако это «почин». Я отцепляю его от мормышки, небрежно бросаю рядом с лункой. Этот бойкий подводный житель, который теперь весь извалялся в жемчужном снегу, – второе чудо.

Но больше ни поклевки. Я тупо смотрю на пружинку, подергиваю удочкой, чтобы раздражить воображаемых рыб, но это не дает результатов. И чудеса начинают блекнуть. Лунка – никакое не окно, это просто отверстие во льду, причем вода мутная, а на голом и мертвом дне подо мной, вероятно, много вязкого ила. И вообще-то рыб очень мало в этом водоеме, а те, которые все-таки есть, плавают неизвестно где – попробуй, отыщи их. Солнце – да, но в конце концов от него уже начинают болеть глаза. И зачем столько света? К тому же спать хочется.

Вспоминаю, что надо поесть, открываю чемоданчик, достаю булку с маслом, сахар, шурясь от солнца, ем. Света столько, что невозможно смотреть. Голубое, розоватое, белое... Ослепительное. И радость вдруг просто переполняет меня – остановись, мгновенье!...

Хозяин-дед убежал куда-то вместе со своей бородой... Андрей Гаврилыч встает, долбит другую лунку, ближе к берегу. Продолбил, сел...

Я встаю тоже, прыгаю по снегу, чтобы отогрелись ноги и свысока смотрю на свою «добычу» – ее и разглядеть-то трудно в снегу, – жую всухомятку булку и мечтаю теперь о лете, когда не нужно будет надевать эту тяжелую шубу и прыгать, чтобы согреться. От этой мысли становится еще радостней – впереди лето, впереди аромат листвы, песни птиц, поплавки на воде, теплый ветер! Смотрю на Гаврилыча...

Познакомились с ним не так давно, в электричке. Впервые с приятелем отправлялись на подледную рыбалку – наслышались, начитались... – но проспали и не успели дома толком собраться. Расположились на гладком желтом сиденье электрички, старательно привязывали мормышки к лескам и не обратили внимания на пожилого щуплого мужичка с пешней и чемоданчиком – он сидел тихо напротив. Мормышки мы привязывали, как оказалось, неправильно – жалом крючка вниз, и рыбацкое сердце нашего соседа напротив не выдержало...

Мне двадцать пять, работаю на заводе, токарь. Мои станки – это механический мир, и частенько мне кажется, что и станки, и вообще всякие железные механизмы – отчасти живые... У каждого свой характер, капризы, причуды... Хорошо работает любой механизм лишь тогда, когда ты обращаешься с ним по-человечески, с уважением, с любовью... Вообще мой завод

– это мой мир, и сейчас, глядя на Гаврилыча, сидящего терпеливо над лункой, я думаю, что у него совсем другой мир – он реставратор, художник. Мы с приятелем были у него в мастерской, она в старой церкви: густой сад, окружающий церковь, ограждает ее от городского суетливого мира. Я был у него и дома: живет он один, его комната – тоже особый мир, с удочками, фотографиями, потрепанными географическими картами, картинами, канарейкой в клетке, рыбками в аквариуме, двумя кошками и собакой...

Я прямо-таки влюблен в Гаврилыча. По голубой и скрипучей ночной – волшебной! – дорожке он привел меня в этот чудесный сверкающий мир, чтобы отмыть, очистить – как он отмывает, осветляет потемневшие от времени картины... Я влюблен в него, и несмотря на то, что ну абсолютно нет клева, я смотрю на него с благодарностью...

Но вдруг вижу: что-то странное творится с волшебником-реставратором. Он суетится на своем чемоданчике, взмахивает нелепо руками, и вообще маленькая скрюченная фигурка его выражает азарт, энергию, чуть ли не боевой задор. В чем дело?

Наконец сердце мое подпрыгивает – я догадываюсь! – немедленно бросаю на снег недоеденную булку, хватаю пешню, удочку, бегу, неуклюже вскидывая ноги, чтобы не упасть, все-таки падаю, теряю и нахожу удочку, опять бегу, задыхаясь... Наконец – «на втором дыхании» – прорублена лунка, голыми красными руками лихорадочно вычерпаны шуршащие, скользкие ледяные осколки (оставил на старой лунке черпак!)... Вот оно! Я не успеваю даже насадить мотыля – скрюченные пальцы не слушаются – и ловлю на высосанные лохмотья: таскаю одного за другим ленивых, толстых окуней, зеленых, с черными поперечными полосами... Окунь разевают рты, ловят воздух, шуршат, ворочаясь на снегу, а грудные алые плавники их светятся, горят на солнце, словно тайные сокровища подводного царства...

И теперь мне снова ясно, что подо мной в глубине – золотое песчаное дно, а в прозрачной воде среди изумрудных зарослей плавают большие красивые рыбы. Множество разных рыб... Солнце просвечивает сквозь заснеженный лед, и в золотом свете его – все как в сказке...

Однако чудеса недолговечны. После одной из поклевов я погорячился, потянул резче, чем следует, натяжение лески вдруг ослабло, и я понял, что это – обрыв. Пока бегал к чемоданчику, оставленному около старой лунки, окоченевшими пальцами привязывал новую мормышку, неловко насаживал мотыля, стая окуней, очевидно, ушла с этого места. Напрасно я, затаив дыхание, ждал, пытался всячески раздражить рыбу новой мормышкой. Поклевов не было.

У Андрея Гаврилыча тоже кончился клев, мы проббили еще несколько лунок, пытаюсь нащупать стаю, однако все бесполезно. Солнце поднялось высоко и уже припекало спину. От валенок поднимался пар.

Я сижу на своем чемоданчике и смотрю в небо. Плынут облака, медленно, легко. Я хотел бы полетать в небе.

Андрей Гаврилыч тоже смотрит на облака. Он пожилой человек, много видевший, и мне очень хотелось бы узнать, о чем он думает, глядя в небо? Что видит там? Хочется ли ему полетать?

Я приеду сюда летом. Со мной, думаю, будет Она. Найду, конечно же, встречу... Ночью мы разожжем костер. Потом увидим восход солнца. Вместе. Утром уплывем на лодке в туман... Это еще одно чудо. Она будет чудом...

Хозяин-дед собирается домой. Он ничего не поймал – бегал где-то, пока мы с Гаврилычем орудовали со стаей, – и смеется вместе со своей бородой. Мы остаемся. Я легко отдаю ему свою рыбу. Мы надеемся, что будет клевать вечером.

Но вечером не клюет.

Солнце садится. Небо теперь голубое с золотым отливом. Тихо. Лишь из деревни на берегу доносятся знакомые звуки – голоса людей, лай собак, монотонное тарыхтение трактора.

Время от времени вдруг раздается сильный глухой треск: бухнет, прокатится до леса на берегу и замрет. Потом опять... Лед оседает.

Клева нет. Я знаю, что надо бы поискать в другом месте, продолбить новую лунку. Но мне не хочется. Гаврилыч уже далеко. Его маленькая фигурка неумоимо носится по снежной плоской поверхности. Вот он остановился, разбросал снег. Машет пешней... До меня доносятся слабые удары: тук-тук... И вдруг опять бу-у-хх! Дрогнула вода в лунке.

Как далек сейчас город с его огнями, суетой, шумом. Как далек мой завод... Тишина, покой. Здорово!

Мы ночуем в избушке на берегу. Хозяйка – голубоглазая женщина средних лет, темно-волосая, крепкая. Она вдова, без мужа вырастила двоих: сын работает в вечернюю смену – мотористом на теплостанции, – дочь школьница ушла в соседнюю деревню смотреть кино. Имя хозяйки самое обыкновенное – Мария Ивановна. Она поит нас парным молоком, ставит на стол чугунок с дымящейся картошкой, соленые огурцы.

Мы в крошечной избушке, затерянной в огромном заснеженном мире. Сказка продолжается. Завтра нам предстоит еще день.

Я засыпаю быстро. Ночью мне ничего не снится.

И наступает завтра...



Запах берез

Был июнь. Меня всегда будоражат июньские длинные дни, а когда они проходят, становится грустно. Наступает душный июль, затем август со своими прохладными звездными ночами, дождливый сентябрь... а там и зима... На следующий год все повторяется, и – опять ожидание весны, волнение, «охота к перемене мест», июньские длинные дни и робкие ночи... Надежды, фантазии... И чувство чего-то несбывшегося.

Мне было двадцать, я работал на установке декораций в оперном театре. Воскресенья и праздники для нас всегда были самыми напряженными днями: шло по два спектакля. Бывало, выгородишь вечером сцену и смотришь в зал сквозь специальное окошко в занавесе на людей, ожидающих, праздных. А когда начиналось действие, я садился где-нибудь в углу за кулисами, слушал музыку и певцов, потом выходил из театра и шагал по Театральному проезду. Шумный и праздничный, он пестрел людьми, огнями...

Отдыхали мы в понедельник. Хотя он и не был для нас «тяжелым днем», но почему-то, как правило, в наш выходной с утра портилась погода.

Но в тот памятный мне июнь погода изо дня в день стояла великолепная...

В одно из воскресений вечером я по старой, школьной привычке решил провести свой выходной день на рыбалке. Принес с чердака заброшенную рыбацкую сумку, удочки, и около часа ночи вышел из дома.

У метро стихало воскресное оживление. Люди расходились, разъезжались по домам, прощались – все еще праздничные, нарядные в ярком электрическом свете. А я – одетый в поношенную штормовку, с потертой сумкой и с удочками – был уже не от мира сего.

В пустых по-ночному вагонах метро дремали одинокие пассажиры, устало светили лампы, медленно набирал ход, мчался машинально и, не спеша, останавливался сонный поезд.

Среди полутемных платформ вокзала я нашел свою электричку, сел в вагон. У горизонта уже начинало светлеть. Когда вагон дернулся и привычно застучали колеса, я прислонился к стенке и задремал.

Что было потом?

...Я шел по длинной пустой дороге. По обеим сторонам ее стояли дома, серые, равнодушные и тоже пустые. Уже рассвело. Руки мои в неуверенном, робком свете были чуть фиолетовыми и холодными – так всегда бывает в ранние утра.

Дома скоро кончились, начались поля, овраги, кустарник. Я казался себе маленьким и одиноким, я ощущал беспредельность земли: все эти пригорки и овраги, поля и леса, болота и реки на обширной поверхности, уходящей за горизонт.

Надо мной бесшумно, неотвратимо свершалось непереносимое: менялись краски, розовело небо, и я ощущал, я чувствовал, как огромная наша планета медленно поворачивается, подставляя остывший за ночь бок солнцу.

Не чувствуя ног, я летел, как на крыльях, и воздух переполнял легкие. В кустарнике у дороги щелкали соловьи.

Потом был ослепительный день. Искрящаяся рябь на воде, убаюкивающее покачивание, непрерывный плеск волн о лодку, словно кто-то легонько постукивает о ее дно, солнце, солнце и душистая тень прибрежного леса. Отчего так пахнет в гуще берез? Я нюхал ветки, растирал листья между ладонями. Откуда этот цветочный запах, когда вокруг нет цветов?

Я плыл по большому водохранилищу с его бесчисленными притоками, бухтами, островами; приближался к берегу там, где над тихой водой свисали ветви деревьев, пробовал ловить рыбу, хотя клева не было. Я наломал веток лиственницы с прошлогодними сухими шишками и поставил их в бадейку для рыбы, затем добавил еще веток березы... Лодка моя была моим домом, крошечным плавучим островком – пусть не скорлупкой, затерянной в волнах океана,

но все же бесконечно одинокой среди заливов, проливов и плесов. Я пристал к острову, ходил по нему, как Робинзон, но остров оказался слишком малым, к тому же он был наполовину затоплен, и несколько деревьев, растущих на нем, стояли в воде. Возле стволов плескалась, выпрыгивая из воды, рыба мелочь. Я опять сел в лодку, поплыл...

У одного из берегов обнаружил маленькую уютную бухту. Вылез на берег, разделся совсем и теперь ходил в зарослях, как первобытный человек, оглядываясь, правда, чтоб не попасться кому-нибудь на глаза. Здесь росла лиственница, большие кусты рябины, необыкновенно крупно цветущий боярышник, мощные, раскидистые акации, не было привычной осины, ели, сосны. Сказочные, волшебные кущи... Птицы кричали наперебой, а у меня кружилась голова. Я чувствовал себя пьяным от теплоты, от воздуха, пахучего и густого, я не ощущал своего тела – я растворился в окружающем...

Потом купался, сойдя по острым камням в теплую, ласковую воду залива. Плыть было необыкновенно легко. Я переворачивался на спину, закрыв глаза и лицом ощущая прикосновения солнца, нырял в зелено-желтую тусклую глубину, а оказавшись на поверхности, вновь радостно отдавался слепящему свету и находил глазами уютную бухту и лодку в тени акаций. Счастье, настоящее счастье...

Когда надоело плавать, медленно вышел на берег. Крупные капли воды, словно драгоценности, сверкали на моей груди и плечах. Я несколько раз глубоко вздохнул, и захотелось двигаться, бегать, казалось, необыкновенная сила переполнила тело, еще немного – и тогда уже, точно, можно будет взлететь... Да, странно, конечно, выглядел я со стороны – городской человек, полностью обнаженный, охмелевший от обыкновенного воздуха, света.

Но вот к моему берегу пристала лодка. Женщина осталась сидеть на корме, а мужчина вышел на берег и вежливо спросил у меня, где находится устье реки Катыш. Он был худ и бледен, этот молодой мужчина в трусах, а я... О, я уже считал себя диким человеком! Я объяснил ему, но, вероятно, не мог скрыть легкого своего презрения, потому что он как-то странно смотрел на меня, потом быстро прыгнул в лодку, и они с женщиной поспешно отплыли. А я опять остался один, один среди природы, маленькая, переполненная благодарностью ее частичка...

Были еще купания, странствия по своим владениям, отдых в пятнистой тени дерева. Потом я вдруг почему-то решил, что пора ехать домой. Легко и быстро работал веслами, пружинисто сгибаясь и разгибаясь, и лодка моя летела. Удалилась бухта, тень акаций, долго была видна еще большая береза на берегу, потом все сравнялось в темно-зеленую полосу, и стало грустно. Захотелось вернуться. Я развернул лодку, она закачалась часто и беспокойно, заплескались волны, солнце теперь стало бить в лицо, я взмахнул веслами несколько раз... Нет, не надо! Пусть останется все, как было, пора действительно ехать домой.

И опять полетела моя лодка, я обгонял других рыбаков, а выходя на берег у рыболовной станции, старался сделать вид, что в сумке у меня кое-что есть. Единственную плотвицу, пойманную утром на хлеб, я давно уже выбросил в воду.

В трех километрах начинался маршрут автобуса, который ходил до железнодорожной станции. Я свернул с дороги, чтобы продлить немного свой путь, но, опьяненный ароматом берез, незаметно удалился в сторону, отчего, когда вернулся на шоссе, оказалось, что до остановки автобуса остается все еще около трех километров.

Теперь опять шел быстро, но уже по пыльной, горячей дороге, и проезжающие машины обдавали песком и гарью. Успел на автобус, который вот-вот собирался отойти, автобус тронулся, загромыхал, пыль полетела во все щели так, что вокруг сделалось тускло, и стало ясно: волшебство рассеялось, теперь опять будет город.

А ночью поднялась температура. Кожа на всем теле горела так, что невозможно было лежать. Жар усиливался, голова была словно чужая, я терял сознание, бредил. Какие-то видения мелькали перед глазами... Солнечный удар. Расплата.

Но все прошло.

Отчего, отчего так пахнет в гуще берез? Откуда этот цветочный запах, если вокруг нет цветов?

Тот давний июньский день был одним из счастливейших дней моей жизни.



Листья

Летний солнечный день. Загородное шоссе: горячий сухой асфальт с россыпями щебня по обочинам – от него хрустит под ногами, – редкие автомашины, что с шумом деловито проносятся мимо нас, навстречу и обгоняя, маленькие дачные домики по обеим сторонам шоссе, глубокая яма справа, плавные подъемы и спуски, овраг с ручейком и мостиком впереди.

Нас трое: Рита, Светлана – «Светик», Славкина подруга, – и я. У Риты ярко-красная юбка, белая блузка и туфли на высоком каблуке. Они подворачиваются, когда кусочки щебня попадают под ноги, и Рита морщится, смеется, я вижу, что она устала, и мне хочется нести ее на руках.

Мы приходим на недостроенную Славкину дачу – Славка встречает нас, с ним его брат Алик, – начинаются обычные, долгие и нескладные хлопоты дачников-горожан: ходим за водой, разжигаем примус, зачем-то ставим кипятить чайник, который так и не понадобился. Спускаемся в овраг к ручью, чтобы умыться, возвращаемся, налаживаем магнитофон. Мы садимся за стол пятеро – «пятый лишний» Алик, Славкин брат, – пьем вино из чашек и стаканов, потому что рюмок нет, подшучиваем друг над другом, смеемся.

Потом мы шумно собираемся гулять по оврагу – овраг большой и глубокий, он весь порос густыми, труднопроходимыми зарослями осины, ольхи, орешника и большими деревьями – сосной, березой, – в пяти шагах там ничего не видно. Первыми уходят Славка со Светиком, затем куда-то таинственно скрывается Алик, а Рита почему-то остается, садится на кровать и говорит, что у нее кружится голова, но «это сейчас пройдет», и тогда она найдет нас.

Она не смотрит на меня, отворачивается, закрыв руками лицо. Почему это, а? Может быть, она на меня обиделась? За что?! Но я сажусь рядом и участливо спрашиваю, что с ней такое. Она не отвечает, я сижу с глупым видом, не зная, что делать. Потом, наконец, она молча встает, и мы идем.

Мы идем по тропинке, которая вьется по склону среди бугров и берез. Рита ведет себя опять непонятно, а когда я показываю ей кривую березу, один из стволов которой, седой и толстый, повис горизонтально над склоном, – она смеется странно и говорит, что у нее в туфель попал камешек. Она спускается к ручью, пока я чинно сижу у кривой березы. Наконец, я слышу, как она зовет меня от ручья, но почему-то не двигаюсь – зачем она от меня убежала? – и вот уже ее не слышно, а когда, продравшись сквозь заросли, я подхожу-таки к ручью, ее там уже нет. Теперь я кричу, но она не отзывается – скрылась куда-то...

У меня немного болит горло – недавно болел, – и чуть-чуть кружится голова, потому что давно не был за городом; день жаркий, солнце россыпью ложится на листья кустов – это напоминает мне что-то, сказку из сна, – и вот я уже отрешенно бегу по берегу ручья, продираюсь сквозь кусты напролом, пригибаюсь, где нужно, прыгаю через склоненные ветви – и листья шумно и хлестко бьют меня по лицу, мне уже трудно, больно дышать, и передо мной то вспыхивает солнце на ветках, то веет угрюмой сыростью из-под густоты кустов, и в ярко-зеленые пятнистые полосы сливается множество хлещущих и щекочущих, жестких и мягких, остро пахнущих, зовущих, пьянящих листьев.

Я бегу долго – и тайна ручья раскрывается мне. Я вижу, как кончаются густые заросли по его берегам – он течет уже по равнине. На другом берегу – большие засеянные поля, на этом, моем, берегу – длинное здание фермы, домик, где живет, вероятно сторож, и стадо коров. Я нашел себе какую-то палку и теперь иду, словно странник в незнакомой стране, опираясь на посох, смотрю по сторонам, вижу небо и солнце и жду чего-то. И хотя я все еще перевозжу дух от бега и от неприятной обиды – куда она скрылась-то? – в груди печет, в горле тоже, но я – счастлив. Смело прохожу сквозь коровье стадо и с сознанием собственной значимости, бывалости постукиваю палкой по дороге.

Навстречу идут люди. Кто они, откуда? Они проходят мимо, но я слышу их разговор и догадываюсь: торопятся на электричку. «Какая здесь станция поблизости?» – буднично спрашиваю вдогонку. Они отвечают, и я понимаю, что пробежал совсем немного – меньше одной остановки поезда... Всего-то... И вновь ныряю в зеленые заросли, в листья, бегу назад по ручью... И опять все забыто, и я, кажется, пою что-то – песни, которые вспоминаются сами собой. Летят мимо меня листья зеленой пятнистой полосой, они хлещут и гладят меня по лицу, и словно опять зовут, зовут...

Но в глаза мне сверкает красным. Рита! Она сидит в своей красной юбке на пенышке у края оврага и спокойно, с улыбкой смотрит на меня сверху.

Останавливаюсь нехотя, взбираюсь по крутому склону, цепляясь за корни, и сажусь недалеко от нее, на траву. «А я думала, уж не медведь ли. Такой треск стоял...» – говорит Рита и смотрит с улыбкой. «Как видишь, не медведь», – отвечаю хмуро. Мы сидим некоторое время молча. Потом поднимаемся и вместе идем на дачу. У тропинки нам встречается маленький шалаш, крытый еловыми ветками. Я останавливаюсь, заглядываю в шалаш, пробую его прочность. «Какая прелесть, – говорит Рита. – Правда?» – «Хороший шалаш», – соглашаюсь угрюмо, и мы идем дальше.

Мы приходим на дачу – Славка со Светиком уже здесь, к Алику тоже приехала его подруга, Соня, – и мы все теперь играем в волейбол на поляне. У Сони каштановые густые волосы, большой красный гребень и голубые глаза, гребень постоянно падает в траву, волосы рассыпаются и мешают ей играть, она поднимает гребень, опять пристраивает его в волосах. Она раздумялась от игры и от солнца, и, поправляя прическу, она улыбается смущенно, словно ей неловко, что у нее такие густые красивые волосы. Рита хорошо играет в волейбол – она спортсменка, – мяч мягко и послушно отлетает от ее рук, но она не смотрит на меня почему-то, играет серьезно, сосредоточенно, закусив губу. Что, я опять чем-то обидел ее?

Вечером мы едем в электричке – народу много, вагоны набиты битком, Рита и я стоим в тамбуре. В тамбуре полутемно, тускло горит одна небольшая лампа, вагон мягко покачивается, постукивают колеса, в дверь с выбитым стеклом веет прохладный ветер – и проносятся мимо домики с освещенными окнами, еле видные в сумерках поля и деревья. Деревья, кусты... Мы молчим, и глаза у Риты блестят, она смотрит на меня долго и странно, она ждет от меня чего-то. Придвигаюсь к ней ближе, чувствую, что ей холодно, мне становится жалко ее, – она кладет голову мне на грудь и всхлипывает, вздрагивает от чего-то. От чего?

От вокзала провожаю ее домой. Мы едем в метро, потом пересекаем людную площадь, идем по темному переулку с деревьями – под ногами распластались красивые черные тени, а по краям переулочка яркие фонари просвечивают сквозь нежно-зеленые неподвижные кружева – листья деревьев...

Мы долго и молча стоим у ее подъезда. Я говорю «до свиданья», поворачиваюсь, иду. «Не уходи», – говорит она тихо. Я останавливаюсь послушно, возвращаюсь, легко обнимаю ее, целую наконец вздрагивающие губы. И ухожу тотчас. Ведь именно уходя я почему-то чувствую себя суровым и сильным...

Ночью во сне я опять вижу ярко-зеленые пятнистые полосы листьев. Они летят мимо меня и трогают и гладят мое лицо, нежно и ласково, бережно...



Яркие пятна солнца

Пляж на реке. Смущение, чувство такое, будто он только что впервые увидел ее. Впервые в купальнике. Лодка, закат, горящие от солнца окна дома на берегу. Сумерки, тишина, когда заплыли далеко вверх по реке. Сели рядом за весла, прикасаясь плечами, но откуда-то появился милиционер на катере и прокричал в мегафон, что сидеть рядом запрещено, потому что может опрокинуться лодка...

Она пересела напротив, и он теперь видел ее всю. Ее задумчивое лицо, ее голые руки, плечи, ее колени...

Прохладный летний вечер, когда и в городе хорошо, проблески света в ее темном подъезде, ее тихий голос, улыбка, веселые блестящие глаза, потрясающе нежные губы, ослепительно белые зубы, душистые, шелковистые волосы... Мама сверху звала ее несколько раз, он оттягивал момент прощального поцелуя. Но так и не решился поцеловать.

И весь другой день мучился, корил себя, злился. Позвонил. А вечером, когда они встретились наконец, пригласил ее к себе, в комнату общежития. Привел...

...Несколько дней назад, в субботу, ходил по набережной один. Опять один и один. И вдруг солнце, опускаясь за мостом, облило красным ступени и парапет, а на реке мелкие волны засверкали багровым и золотым. Этот огненный свет мучительно и непонятно взбудоражил его. Мимо проходили по-летнему одетые люди, девушки улыбались, смеялись, а он с трудом удерживался, чтобы не смотреть вслед каждой. Проезжали автобусы, троллейбусы, он провозжал их глазами и видел лица в окнах, и каждый нежный профиль заставлял его трепетать и волноваться, и, стискивая зубы, он отгонял от себя стыдные мысли. По набережной зашел далеко и, возвращаясь, сел в автобус. На одной из остановок в автобус вошла девушка в коротком платье, оживленная, стройная. Пройдя вперед, она взялась за поручень и наклонилась, заглядывая в окно. Платье обрисовало ее фигуру, а он мучительно покраснел и отвел глаза.

В воскресенье пошел на концерт в Консерваторию, опять один и один, слушая музыку, чуть не плакал, и жизнь представлялась чуть ли не конченной. Было детство и юность, а вот теперь ему девятнадцать, и как будто бы что-то остановилось. Что-то постоянно мешает и делает все вокруг мучительно непонятным, сложным. Не радует ничего. Наверное, он другой, не такой, как все...

Он обожал математику, свой строгий, поэтический, логичный мир, цифры и формулы казались воплощением чистой гармонии, жизнь до некоторых пор тоже представлялась понятной, стройной, логичной, но вот препятствие появилось, пугающее непостижимостью, властностью своей, напоминающее о себе наяву и во сне, неотступно. Как же преодолеть его?

Вокруг волновался, дышал – жил! – огромный, переполненный людьми город, люди встречались друг с другом, смеялись, грустили, целовались, и все у них, казалось ему, было просто, естественно, а он вот застыл на месте, отбился, и одиночество его нелепо, противостоит, странно. Неуклюжий провинциал из глухого заштатного города, оказавшийся, вот студентом Университета на Ленинских горах, в столице. Математик. Чужой.

А говорили ребята, что очень просто на самом деле это.

Познакомились с ней совершенно случайно, в библиотеке, он сам даже не понял, как. Она дала телефон. Долго не решался, наконец, позвонил. Встретились, катались на лодке, на другой день опять позвонил, опять встретились, он предложил пойти к нему в общежитие Университета, и она почему-то согласилась сразу.

...Они вошли, и в ее присутствии привычная комната внезапно стала чужой, даже как будто враждебной. Лампа, оказывается, слишком яркая, обстановка убогая, все, все вокруг как-то не так.

Первой жертвой его неумелости стал приемник. Он так старался поймать какую-нибудь *подходящую* музыку, что все, что ловил, казалось плохим. Он крутил и крутил ручку настройки сначала в одну сторону, потом в другую, чуть не сломал. С непонятной, пугающей улыбкой она сидела на единственном стуле около стандартного столика, накрытого старой газетой. Сидела и смотрела в темень окна. Странно смотрела.

На очереди были журналы. Он достал кипу старых журналов из тумбочки и, сказав, что лучше смотреть их, сидя на кровати, усадил ее рядом с собой. Теперь он ощущал ее близость, тепло, исходящее от тела, тонкий аромат то ли крема, то ли духов. В горле пересохло, руки его стали холодными, потными и неприятно дрожали.

«Ну... Ну же! Скорей давай, действуй же!» – уговаривал он сам себя, бессмысленно глядя в журнал у нее на коленях, чувствуя гулкую пустоту в голове. – А то ведь скоро уйдет».

Колени ее, выглядывающие из-под журнала, были округлые, очень красивые. Пахло не только духами, но и еще чем-то детским, как будто бы молоком. Наконец, он решился, левой рукой неуклюже обнял ее за плечи и тотчас, оправдываясь, хрипло пробормотал что-то. Она не шевельнулась, не отодвинулась, только чуть напряглась. Рука его безобразно дрожала. Он не знал, как нужно обнимать ее, с какой силой, казалось, рука вот-вот упадет, соскользнет со спины. Пальцами он чувствовал шершавую материю ее платья, ее волосы щекотали его щеку, один волосок попал в глаз. Он терпел героически, пока глаз не заслезился. Пришлось отстраниться и отчаянно потерять глаз...

Журналы кончились.

– Проводи меня домой, – сказала она вдруг, выпрямляясь.

Рука его тотчас упала с ее плеча, и неожиданно для самого себя он проговорил грубо, хрипло:

– Останься.

И испугался тотчас.

Она встала, не говоря ни слова, подошла к двери. Он как-то отчаянно бросился за ней, схватил за плечи, стал бормотать что-то невразумительное – чтобы подождала еще, ну, минуточку хотя бы, ну, чуть-чуть, они сейчас пойдут, конечно, только посидят самую малость, немного совсем, ну минут пять хотя бы, ладно?

И сам себя ненавидел...

– Ну чего ты встала ни с того ни с сего? – проговорил наконец внятно, спокойно.

Она молча вернулась, села.

Он опять судорожно схватил приемник, поймал джаз. Затем приоткрыл дверцу шкафа-чика и нарочно долго искал бутылку, которую специально приготовил вчера. Он искал ее со словами:

– Посмотрим, может быть, у меня что-нибудь есть... Не осталось ли что-нибудь? Ага, вот и бутылка...

Она пить отказалась. Он уговаривал. Обижался, сердился, говорил, что она и ему не дает возможности выпить, потому что один он пить не может: нехорошо одному, неприлично. Что он, алкоголик какой-нибудь, что ли? Устал от уговоров и разозлился вдруг, с ненавистью и к себе и к ней, замолчал.

Наконец, она чуть пригубила свою рюмку – «Чисто символически, раз ты так настаиваешь», – он выпил свою, налил себе еще с досадой и опять выпил. Коньяк был дешевый, противный, от него неприятно пахло – клопами! – и было такое ощущение, что выпитые рюмки остановились в самом верху желудка, у горла. Зачем, зачем это все? – думал мучительно, ненавидя себя, ее, все на свете.

Потом вспотел внезапно, чуть-чуть опьянел, снял пиджак и – головой в омут! – начал убеждать, чтобы она его поцеловала. Она его, а не он ее. И с ужасом подумал, что теперь-то уж точно все, теперь она уйдет немедленно и навсегда. Она несколько раз действительно

порывалась уйти, но он не пускал, держал за плечи, уговаривал, ходил за ней по пятам, до дрожи презирая себя, и, наконец, взглянув на часы, вздохнул свободнее: десять минут второго.

– Вот, на метро ты все равно опоздала, а на такси денег нет. Придется ждать до утра.

И усмехнулся злорадно.

Она все-таки хотела идти, говорила, что пойдет пешком, мама ведь будет ругаться, мама ей не простит, она ведь никогда ни у кого не оставалась на ночь... А он, осмелев, уже обнимал ее неловко, неумело целовал наугад – в щеку, в нос, в подбородок, наконец в губы. Они у нее были тверды и сухи, крепко сжаты, она вырывалась, потом начала хныкать, как маленькая. Он сказал:

– Завтра я пойду с тобой и поговорю с твоей мамой, хочешь? Скажем, что провожали в армию моего товарища, сбор у них рано утром, потому и... Хорошо?

Она вдруг успокоилась и сказала:

– Ладно, я останусь. Будь что будет. Только ты мне постели на полу.

Он вмиг отрезвел, погасил свет. Она села на кровать и закрыла руками лицо. Дрожащими пальцами он принялся расстегивать пуговицы ее платья. В темноте все изменилось вдруг.

– Пусти, я сама, – сказала она.

Встала, стянула через голову платье с жестким шорохом, он помог ей снять туфли, чулки. Снятые чулки тотчас стали неприятно холодными и сделали попытку выскользнуть из его рук, как змейки. Расстегнул лифчик, не сразу поняв, как надо – освобожденные груди ее качнулись... На ней остались одни трусики. Она села.

Вздрагивая, стыдясь, волнуясь, отводя глаза от ее белеющей кожи, как-то непроизвольно медля, он неловко снимал с себя и складывал на стуле свою одежду.

Она неподвижно сидела, закрыв лицо руками, волосы рассыпались и прикрыли ее. «Как на картине «Святая Инесса», – подумал он автоматически, совершенно не представляя, что делать дальше...

Путаясь в ее волосах, он зачем-то бережно приподнял ее, теплую, неподвижную, и положил поверх одеяла, к стенке. Вытащил с трудом из-под нее одеяло, накрыл ее, потом отогнул одеяло, лег рядом и словно в каком-то отчаянье принялся мять ее тугие и ошеломляюще гладкие, незащитные, нежные, груди. Она молчала, только дышала часто, закрыв глаза, и казалось ему, что от ненависти к нему, от беспомощности своей она дышит так. Он страдал, он был противен себе до отвращения, он ненавидел себя, но не знал, что делать дальше, как быть, время остановилось. Положение казалось безвыходным.

...А за окном во мраке спал огромный, переполненный людьми город, и жизнь вершилась своим чередом, и по законам статистики каждую минуту рождалось и умирало в городе несколько человек. Рождалось больше...

Долго, упорно, с какой-то тупой, жестокой настойчивостью он пытался раздеть ее совсем, до конца – снять трусики. Чуть не порвал резинку, и все же стянул их с места, а она вдруг вытянула ноги и чуть приподнялась, чтобы ему удобно было снять их совсем. Одеяло сбилося на сторону, упало на пол, и в ночном призрачном свете он вдруг увидел ее всю – Женщину. Она лежала на спине, закрыв глаза, беспомощно раскинув руки, и, казалось, спала. Потрясенный увиденным, он накрыл ее одеялом и встал зачем-то.

Все в комнате было ускользящим, нереальным, все вокруг покачивалось, как в непонятном сне.

– Принеси мне попить, – вдруг попросила она и, откинув одеяло, села на кровати, уткнув в голые колени лицо.

И вновь все изменилось вокруг. Внезапно он почувствовал себя сильным, очень сильным, добрым. Она просит пить, милая, хорошая такая, она хочет пить, господи!

С радостью пошел за водой. Голова кружилась. Принес воду, протянул ей стакан и, стоя рядом, все больше умиляясь, смотрел, как она пьет. Она глотала громко, вздыхала, переводила дух – милая, маленькая, совсем ребенок.

Попив, она поставила стакан на пол, приподнялась и прижалась к нему, уткнувшись лицом ему в грудь. Осторожно, бережно он поцеловал ее волосы, мягко отстранил, уложил спокойно, лег рядом сам, тихий и добрый. Она вдруг приникла к нему всем телом, горячая, потянулась мягкими, влажными губами, тяжело и часто дыша. Он нежно целовал эти губы, дрожа, прижимая к себе осторожно, заботливо, словно защищая от чего-то, переполненный невыразимым счастьем. Все закружилось вдруг в бешеном вихре, быстрее, быстрее, навалилось, сдавило грудь... Судорога сотрясла все его тело, непроизвольный стон вырвался из груди... И в неистовом биении сердца он почувствовал возвращение в мир.

Оглушенный, растерянный, слабый в полном недоумении он отодвинулся от нее. Несчастный, жалкий, растерявший внезапно могучую силу, и чувствующий ужасный стыд. Не хотелось даже открывать глаза – было ощущение неловкости, неудобства, растерянности, нечистоты внизу. И – несправедливости. Почему все так глупо и быстро, зачем...

Обман, насмешка природы. О, господи, стыдно, стыдно. Внизу мокро и липко, и никуда не денешься, срам. Она теперь будет смеяться над ним! Никогда, никогда больше она не будет его уважать, жизнь окончена, разбита, проиграна, и ничего уже не поделаешь. Математика одна остается, наука и ничего больше. Несчастный, неспособный заморыш. Слабак.

Она лежала рядом, молчаливая, неподвижная. Наверняка презирающая его. Совсем чужая.

Наконец, он забылся. В отчаянье, горечи и печали. Одинокий, как никогда. Уснул.

Позже, потом, в таинственных недрах ночи снился ему навязчивый сон. Он как будто бы продолжал говорить что-то ей, говорил без конца, оправдывался, извинялся, настойчиво убеждал, объяснял, чуть ли не плакал даже. А она странно, мягко и ласково улыбалась, слушала, непонятно смотрела, и пугающим сначала было это ее спокойствие, а потом... Сон это был или... Была власть легких рук и взволнованный тихий шепот, головокружительный аромат дыхания, и что-то обволакивало его, влекло, и непонятно все опять было, страшно неизвестностью своею, и сердце замерло, как перед прыжком, и дышать нечем, и плакать хотелось. Но звучала, звучала уже таинственная, необычайная музыка, и было, как никогда, приятно, и чувствовал он себя сильным, могучим, и ясно было, что смерти нет, и ничего не было страшно, все ,правильно, все хорошо. И вот сейчас, сейчас свершается необычайно важное, может быть, самое важное в жизни, свершилось, да! И восторг и нежность, и стоны ее, и радость победная...

А потом наступил покой.

Под утро, сквозь тихое, мирное забытие, он слышал осторожные шаги, шорохи. Потом щелчок дверного замка. Он хотел проснуться, но почему-то не мог, все длилось и длилось ощущение прекрасной бесконечной мелодии, тело его было легким, невесомым, летящим...

Первое, что он увидел, открыв глаза, – яркие пятна солнца. Рядом не было никого. Недоумение, обида, мгновенный вопрос. Где она? Почему? Во сне это все было, или...

Но звучала, звучала мелодия, и почему-то ясно стало: свершилось. Свершилось, на самом деле свершилось! Ее нет, она ушла, но все, все, что было – не сон. Она не ушла, она растворилась в этом солнце, в этой удивительной теплоте, которая переполняла и его, и всю комнату.

На столике лежал обрывок бумаги, на нем слова: «Мне на работу рано, извини. Целую крепко. Звони». И – номер телефона, который он знал.

Выпутался из простыней, подошел к окну. Сияющее, свежее, голубовато-розоватое небо казалось перламутровым, теплым. Ослепительный, раскаленный, слегка мерцающий диск солнца всплывал над горизонтом с торжественностью. В его лучах грелись крыши домов, деревья, далекая, изогнувшаяся в повороте река, подернутая серебристой рябью. Черные точки стрижей уже мелькали в бездонной утренней высоте.

Ощущение молодости, силы, предстоящей долгой жизни переполнило его. И весь необъятный сверкающий мир расплылся перед глазами... Он плакал от радости, огромности того, что произошло. Одиночество куда-то исчезло, появилось чувство благодарности, непостижимо-таинственного родства...



Вестница

1

Максим ехал в метро, думая о невеселой перспективе долгих, однообразных дней. Всего две недели прошло с тех пор, как он вернулся из длительной и очень интересной командировки по Сибири (под конец смена впечатлений даже стала утомлять) и никак не мог прийти в норму. Он видел себя в знакомой обстановке, среди знакомых людей, но не узнавал. Как будто бы сильно повзрослел за эти два месяца, стал мудрее, но мудрость, увы, не принесла счастья.

Уезжая в командировку, зная, что она будет длительной и насыщенной, он заранее решил обдумать там, на свободе, один вопрос, который мучил последнее время. Однако вопрос оказался настолько сложным, что он так и не смог решить его. Хотя понимал: решить нужно и решить навсегда. Жена уехала на юг с дочерью, письма от нее сначала приходили в каждый город на его пути и были неискренне ласковыми и жалобными, как обычно. Потом писем не стало. Он вздохнул с облегчением. Однако, приехав, войдя в квартиру, наполненную ее вещами, понял: все еще не так просто. И, лишь получив письмо уже дома, хорошее, как всегда, но – наконец-то! – с неуверенной просьбой не возвращаться к ней, подумал: может быть, Рубикон перейден? И ведь только с самого начала письмо принесло облегчение. Потом стало хуже.

Он ходил и ходил по улицам, рассеянно глядя по сторонам, словно в ожидании встретить кого-то, – кого? – чувствуя себя незванным пришельцем. Люди казались равнодушными и холодными, никому ни до кого не было дела. И даже о командировке не с кем было поговорить. Все знакомые были настолько заняты каждый своим, что никто по-настоящему и не слушал его.

А теперь вот ехал в метро на встречу с сестрой – сам попросил ее пойти с ним в магазин (нужно было купить костюм, а он не привык делать большие покупки самостоятельно), – ехал и смотрел по сторонам. Люди шли, задевая друг друга локтями, плечами, боками, – шли рядом или обгоняли друг друга, – рябило от лиц, блестели глаза, слышался деловитый шорох и шарканье ног, покашливание, дыхание. Однако все были абсолютно чужие друг другу. Одиночество в толпе – символ времени!

Он быстро миновал переход, обгоняя других, хотя в этом не было надобности: несколько минут оставались даже лишними, – и только на последней лестнице, сообразив, замедлил шаги. Вышел на перрон, привычно рассчитывая, где остановиться, чтобы оказаться на нужной станции прямо у выхода.

С поверхностной внимательностью оглядел пассажиров, которые так же, как он, молча и независимо расходились по платформе, примериваясь, в какую дверь поезда войти. Поезд показался в тоннеле, приближался с нарастающим грохотом. Огляделся еще раз.

Сзади по перрону шла девушка. Он успел заметить лишь зеленое мини-платье, темную копну волос и черные узкие очки, которые она почему-то не сняла даже в метро. Как грохочущее видение, вагоны уже проносились мимо, со скрежетом замедляя ход, мелькали их освещенные изнутри окна и голубые эмалированные бока. Девушка в зеленом платье остановилась чуть позади и спокойно ждала. У него в голове как будто бы не было ни одной мысли, но сердце вздрогнуло и заколотилось.

Они вошли в одни и те же двери, девушка, которая оказалась чуть впереди, остановилась у самых дверей, прислонившись к перегородке, а Максим пропустил вперед двух парней и успел занять место тоже рядом с дверьми. Напротив.

Она так и не сняла очки, стояла спокойно, с достоинством – тонкая ткань платья мягко льнула к стройной фигуре, но Максим был уверен, что она заметила его внимательный взгляд. Поезд набирал ход, мимо застекленных дверей пронеслись ярко освещенная платформа и мра-

морные стены станции, потом все погасло, лишь замелькали тоннельные фонари; в стеклах, как в зеркале, отразилась внутренность вагона. Между ним и ею оставалось свободное пространство – никто не встал у самых дверей, – и, время от времени глядя на ее лицо, Максим никак не мог преодолеть неожиданно охватившее его волнение. Что это с ним? Девушка вдруг сняла очки, провела пальцами по лицу, и Максим, не сдержавшись, бесстыдно глянул. У нее были большие зеленовато-серые глаза и слегка изогнутые темные брови. Никакой косметики. Как будто бы свежим ветерком повеяло в вагоне. Девушка стояла как ни в чем не бывало, держа теперь очки в руках, и в глазах ее сверкали проносящиеся фонари. Наконец она взглянула на него.

Хотя и редко, но все же бывают моменты, когда даже угрюмый расчетливый человек становится сущим ребенком: он готов тут же, не задумываясь, все бросить и лететь сломя голову туда, куда позвал его непонятно откуда появившийся голос. Максим не был ни угрюмым, ни расчетливым, однако с некоторых пор начал замечать в себе симптомы угасания. После командировки это грустное чувство только усилилось. Что это – надвигающаяся старость или один из приступов мизантропии, периодически возникающая «мировая тоска»? Но ведь ему едва за тридцать...

Его жена была слабая, очень неуравновешенная женщина, и он ни минуты не сомневался: ее последнее письмо – нечто вроде наивного шантажа, попытка заставить его как-то действовать, просить прощения неизвестно за что, клясться, умолять. Так бывало не раз. По приезде же опять начнется бесконечная, обволакивающая мозг путаница мелких требований, обид, невыполненных обещаний и слез. Этакая странная, непонятная для здравого ума борьба. В том случае, конечно, если он не решит окончательно и не уйдет. Не далее, как вчера, после фильма, который он просмотрел в одиночестве, он вдруг понял, что все последние годы обманывал себя. То, что он привык считать глубокой привязанностью и даже любовью, было на самом деле лишь его поражением. Подчинением. В сущности, она если и уступала ему иногда, то лишь временно, неизменно делая в конце концов то, что соответствовало ее и только ее требованиям, оставаясь такой же замкнутой в своем узком, далеком от него мирке. Правда, она частенько упрекала его в том же самом. Так что с обеих сторон был лишь невыгодный, изнуряющий компромисс. Когда-то он любил ее – во всяком случае, считал, что любит, испытывая порабащающий напор чувств, угар, непреодолимое влечение, которое возникало, правда, периодически... Но это ли любовь?

Поезд замедлял ход, в темень дверных окон ворвался блеск мраморных стен, и вот поезд, скрежеща тормозами, остановился, двери раскрылись с шипением, девушка повернулась и вышла. Это произошло легко и просто до нелепости, и, растерявшись на мгновение, с гулкой пустотой в голове, Максим повернулся тоже, разрушив охватившую скованность, и вышел в бескрайнее пространство станции. Неловко лавируя в толпе, он сначала опередил ее, потом отстал, все время чувствуя, зная, что она идет не спеша и, может быть, ждет. Взрослый человек, ведущий себя, как девятиклассник! На эскалаторе он встал ступенью ниже, наконец-то ощущая некоторое успокоение, стараясь не смотреть на нее, решив, что лучше будет начать, когда они выйдут на улицу. Стоя позади, он чувствовал едва уловимый аромат духов и волос, и у него закружилась голова.

Эскалатор двигался медленно, очень медленно, и это равномерное движение успокаивало, тем более что не оставалось уже пути назад. Она стояла непринужденно как будто бы, изящно опершись на поручни и держа в руках черную сумочку и очки. Она ни разу не обернулась, но теперь он все же заметил и в ней некоторую скованность. Или ему показалось?

В вестибюле испугался на миг, потеряв ее из виду в толпе, но успокоился тут же, убедившись, что она не спеша идет позади. Когда выходили на ярко освещенную солнцем площадь, он шел уже прямо за ней. Толпа, расходясь, начала редеть, и, не теряя решимости, почти спокойно, он тронул ее за локоть и сказал:

– Девушка, одну минутку, извините, пожалуйста. Давайте познакомимся с вами...
Она обернулась и остановилась.

И как-то все изменилось вокруг. Была скованность, туман в голове, головокружение, а тут оказалось, что вокруг солнце, люди, августовская теплынь, старушка с цветами... И – стройная фигурка в зеленом мини-платье, повернутое к нему лицо.

Она смотрела с улыбкой и недоумением, но по тому, как она улыбалась и какое недоумение было, Максим тотчас понял, что да, не ошибся он, она действительно ждала.

Еще при самых первых встречах они – он и его будущая жена – часто заговаривали о свободе. Полюбив, они хотели предусмотреть все, чтобы совместная жизнь была счастливой. Чтобы и в браке оставаться свободными людьми. Это, конечно, совсем не обязательно предполагало супружескую неверность. Главное, казалось им, сохранить уважение друг к другу, честность и равенство, а в остальном каждый, разумеется, мог оставаться таким же человеком, каким был. Самим собой. Больше всего в браке не нравилась обоим довольно обычная, принятая почему-то большинством взаимная порабощенность, неминуемо ведущая к упрекам, обидам, подозрительности, изнуряющей ревности, а то и вражде. Искренне любящие как будто бы люди, становясь супругами, очень часто утрачивают святыне чувства, и в конце концов их связывают лишь привычка и быт. Почему? Оба поначалу были уверены, что уж они-то смогут избежать столь нелепого, хотя и весьма распространенного финала.

Однако чуть ли не с первых же дней супружества Максима начала мучить странная мысль. В рассуждениях с глазу на глаз жена оставалась как будто бы такой же – любящей, свободно и здраво мыслящей, преданной столь дорогим для обоих принципам. Но в присутствии других людей и, видимо, без него (что следовало из ее же рассказов), она – на первый взгляд неуловимо, на самом же деле весьма существенно – менялась. Она как бы старалась подчеркнуть эту свою декретированную свободу до противоестественности. Зачем? Получалось, что именно в своем чрезмерном стремлении к свободе она оказывалась несвободной. Пока еще веря ей, он начал ощущать смутное беспокойство. Отгоняя назойливую подозрительность, он все же понял, что не мог бы поручиться за каждый ее шаг. И дело было вроде бы даже не в самом шаге – свобода так свобода в конце концов! Его пугало другое: это может произойти неожиданно для него. Предательски. И если это произойдет, он даже не будет знать, догадываться не будет. Он будет думать, что все по-старому, – она сумеет вести себя как ни в чем не бывало. А потом внезапно и неожиданно... Он, который думал, что знает ее, чувствует, начал подозревать, что ошибся. То, что она обычно говорит и во что как будто бы верит, на самом деле вовсе не обязательно присуще ей. А хуже всего в жизни двоих – предательство.

С тех пор ему не давали покоя маленькие противоречия, которые постоянно проскальзывали в ее словах и поступках. Вот, например, идут они по улице, жена огорчена чем-то, расстроена, чуть не плачет или рассержена. Кажется, что чувства ее искренни и глубоки. Но стоит им всего-навсего встретить кого-то из общих знакомых, как она тотчас меняется: ни намек на то, что происходило с ней только что. Веселая, радостная – как ни в чем не бывало! «Зачем этот липовый маскарад?» – недоумевал он сначала. Потом заметил, что за глаза она очень часто совершенно иначе высказывается о людях, чем в глаза. Как же раньше он этого не замечал? Что в таком случае она рассказывает о нем своим знакомым? Чем объясняются непонятные, странные взгляды, которыми иногда награждают его в ее присутствии? Как вообще она живет без него? Какая она *на самом деле*? Чем дальше, тем больше он начинал понимать, что занимает, увы, слишком малую часть ее поистине свободного существа. А связывает их скорее чисто физиологическое влечение полов, чем обязательное, совершенно необходимое в супружестве родство душ. Он не мог, да и не хотел скрыть от нее свои наблюдения, она же, как будто бы не понимая толком в чем он ее винит, в ответ сама стала подозрительной, мелочной и, по-видимому, испугавшись однажды, что он может уйти, желая почему-то во что бы то

ни стало его удерживать, начала изводить его беспочвенной ревностью, жалобами, слезами, не брезгуя при случае и шантажом. А тут родилась дочь.

Когда девушка из метро остановилась и впервые посмотрела на него уже не случайно, а в ответ на его слова, и улыбка ее была предназначена ему – ему, а не безликому человеку в толпе, – он всем своим существом, мгновенно, не осознавая еще, почувствовал удивительное просветление в себе и вокруг. Как будто бы давно висевшая мучительная угроза исчезла.

Остановившись и обернувшись к нему с недоумением и улыбкой, она все же медленно пошла опять, сказав:

– Что вы, зачем?

Он тут же растерял решимость, но машинально шагнул рядом и, разозлившись на себя вдруг, решив, что все испорчено, она уходит, сказал, неожиданно переходя на повелительный тон:

– Уйти вы всегда успеете! Подождите же.

И слегка тронул ее руку.

Какое он имел право так грубо разговаривать с ней? И все же она замедлила шаг. Она улыбалась.

– Ну так как же? Вы не хотите? – сказал он все так же резко, не в силах остановиться.

По-прежнему улыбаясь, она опять глянула на него. И вдруг подняла руку на уровень груди и протянула сложенную лодочкой ладонь.

Он ошарашенно смотрел на нее, решив, что таким образом она прощается с ним, желая, чтобы он оставил ее в покое, машинально протянул свою руку и вдруг услышал, что она произносит имя. Женское имя. Только через несколько мгновений, уже пожав тонкую ее кисть, он понял, что это не прощание, что это наоборот. И назвал сам. «Ей лет 18, не больше!» – подумал, испытывая угрызения совести и радость одновременно.

– Ну, так когда же мы встретимся? – спросил теперь уже мягче, опомнившись. – Сегодня? Завтра?

Она пожала плечами.

– Завтра я уезжаю.

– Как? Куда?

– Домой. Я не в Москве живу. Из другого города приехала.

С чуть лукавой улыбкой она посмотрела на него сбоку.

– Завтра? Боже мой, завтра... Из другого города... Так вот почему вы такая...

У него был несчастный вид, и она засмеялась.

– Какая?

– Не... Незадержанная, что ли. Естественная.

Она промолчала, по-видимому, осмысливая, а он почему-то подумал, что вот она никогда не стала бы его ревновать впустую. И он не стал бы!

Через пять минут они сидели в сквере на площади. Словно по инерции он пытался говорить, чтобы развлечь ее, но получалось плохо. Она терпеливо сидела рядом и улыбалась рассеянно.

– Если хочешь, то прямо сейчас, – сказала она вдруг, первая переходя на «ты».

– Что сейчас? – опешил он.

– Пойдем куда-нибудь. До вечера я свободна.

Она смотрела на него опять запросто. Даже как будто бы и не волнуясь! «Что это может означать?» – мучаясь, соображал он.

– До вечера? А что вечером? – спросил машинально.

– Вечером я иду в театр. С братом.

Только тут он впервые посмотрел на нее внимательно, отстраненно, впервые пытаясь разглядеть. Сколько ей все-таки? Восемнадцать? Двадцать? Мельком отметил, что у нее очень

хорошенькое лицо, милый задорный профиль, чуть вздернутый носик. Загорелые колени... Какое-то беспокойство возникло. Он вспомнил, что его ждет сестра. Да-да, сестра, верно. Времени, правда, мало прошло. Автоматически глянул на часы, успел мельком удивиться – действительно, как мало!

– Хорошо, – сказал он. – Хочешь, поедem на лодке?

– Хочу, – ответила она живо.

Сидели на лавочках невдалеке и двигались мимо какие-то фигуры. Какие-то голоса... Ладони и спина ощущали жар нагретой солнцем скамейки. Лодка, качающаяся лодка на теплых волнах...

– Только съездим предупредим сестру, она меня ждет. Хорошо?

Дружно встали, машинально он протянул ей руку, она тотчас ухватилаcь за нее. Он шагал в полусне. Через дорогу перебегали, не расцепляя рук. Правда ли это все? Наяву ли? Инстинктивно встряхнул головой.

Держась за руки, входили в людный вестибюль, с трудом пробиваясь, ускользая от столкновений. Так недавно они вышли отсюда. Десять минут назад или вечность? Он и юная девушка в коротком зеленом платье теперь входили в метро...

– Что скажем сестре? – быстро спросил он, ощутив глупейшую потребность что-то немедленно делать, энергично действовать, сдерживаясь, сжимая в своей ладони ее миниатюрные пальцы.

– Что считаешь нужным, то и скажи, – ответила она, и опять Максим прямо-таки радостно вздрогнул от того, что она с ним на «ты» и так запросто.

Перед тем, как войти в вагон, им пришлось расцепить руки. Но когда вошли и, протиснувшись, оказались совсем близко друг к другу, ее маленькая рука сама нашла его большую. И уже привычно успокоилась в ней. «Чудо какое-то» – опять радостно подумал Максим.

В вагоне было много народу, их прижали друг к другу, и он опять испытывал легкое головокружение. Он никак не мог привыкнуть к ее лицу, смотрел уже близко, не отводя глаз, – теперь она застенчиво отворачивалась, – но никак не мог разглядеть. Черты лица странным образом сливались и ускользали. То появлялась спокойная уверенность, что оба они давно знают друг друга, именно давно, нельзя даже сказать сколько. А то лицо вдруг казалось пугающе красивым, юным, замкнутым в себе, чужим. Сердце его билось так сильно, что казалось, под ударами слегка прогибается ткань ее платья и не только ткань... Его сердце как будто бы легонько подталкивало ее...

На следующей станции вышли, поднялись на эскалаторе, он попросил ее подождать и быстро нашел сестру в вестибюле. Сказал первое, что пришло в голову. Что встретил, мол, хорошего старого друга, который, к сожалению, сегодня же уезжает, им обязательно нужно поговорить. Это была почти правда. Кажется, сестра не обиделась.

Девушка в зеленом платье спокойно ждала его там, где он ее оставил. Подходя, разглядел ее сквозь толпу с чувством радости. Больше он не покинет ее! Волнуясь, опять взял ее руку. Теперь они свободны, впереди уйма времени. Они быстро побежали друг за другом вниз по ступеням. И опять вместе, плечом к плечу, вошли в вагон...

После рождения дочери жена его не изменилась. Не изменилось и его отношение к ней. Опять она говорила одно, а делала, с его точки зрения, совершенно другое. Ему же ничего не прощала. Любви уже давно не было. Куда она улетучилась? Да и была ли? С одной стороны, висело теперь ярмо долга, с другой – привычка и малодушная боязнь потерять. Усталость. Дочь была как будто бы похожа на него, однако он уже патологически не мог избавиться от оскорбительных сомнений. Тем более что кое-какие основания для них все-таки были. Теперь он точно помнил, что были... А впрочем, ему было как-то все равно теперь. И он, и его жена измучились окончательно, постарели оба, и брак их словно в насмешку принял столь распространенную форму. Ту самую. Дочь в конце концов сплывали на юг, к родителям жены, – там,

конечно же, ей будет спокойнее, лучше. А в это лето уехала к родителям и жена. Жена – на юг, а муж – на восток в длительную командировку...

В полупустом гроыхающем вагоне трамвая, продуваемом теплым ветром, он и девушка сели у окна. С отсутствующим выражением лица, словно по рассеянности, она вдруг склонила голову ему на плечо. Вздвигнув, он едва не отодвинулся. С победным грохотом и звоном трамвай выскочил на окраину. В окнах замелькали маленькие симпатичные домики, садики, сосны, освещенные солнцем. Запахло горячей хвоей.

Сев в лодку, он и она почти все время молчали. Только поначалу он пытался говорить что-то, шутить, но она была рассеянна, и он вскоре умолк. Но это было удивительное молчание. Можно даже сказать, что молчанием это как раз и не было. И показалось ему, что плывут они в голубоватом светящемся мареве очень давно и что они всегда знали друг друга. И было в молчании их что-то первозданное, истинное, хотя и по какой-то непонятной причине забытое.

Но самое удивительное было то, что чувство, которое он испытывал к ней, распространилось как будто бы и на все окружающее. Небо с сияющими облаками, плывущими, как сказочные фрегаты, мелькание белогрудых ласточек, веселая пляска воды, лодка, запах лодки – запах горячего дерева и краски, – и запах реки, сама девушка, сидящая на корме и осиянная солнцем, солнечные блики на ее коленях, стройных ногах, туфельках, ореол волос, блеск глаз, тяжелые округлые рукоятки весел в ладонях, скрип уключин, плеск волн, писк ласточек, далекие, какие-то разнообразные звуки, радость мышц, дорвавшихся до работы, ветерок, играющий волосами, – все это и еще очень многое, что невозможно и перечислить, составляло единую картину, в которой ничего нельзя было убавить. А она – она была средоточием, центром окружающей необычайной действительности...

Когда отплыли уже на порядочное расстояние от пристани и стало видно, что на берегу растет сравнительно высокая, не до конца вытоптанная трава, он захотел причалить к берегу. Она согласилась. Лодка ткнулась в прибрежную траву. Грაციозно балансируя, стройная спутница прошла мимо, задев его плечо шершавым, горячим от солнца платьем. Берег был действительно мало истоптан. А совсем рядом, метрах в двадцати от воды, стоял шалаш. По всей видимости пустой.

Собирая цветы, они медленно приблизились к шалашу.

– Иди сюда, смотри, как здесь здорово, – глухим голосом сказал он.

Изящно согнувшись, она влезла тоже. В шалаше было просторно, сквозь ветки у самой земли видно было цветы и траву. Было жарко, душно. К одурманивающему запаху сена и увядших листьев прибавился аромат ее духов.

– Поедем, – сказала она вдруг и забеспокоилась: – Ты ведь знаешь, что мне к семи.

Да, на часах было уже половина шестого. Не дожидаясь ответа, она первая выбралась из шалаша. Он, подчиняясь, – за ней. По траве, по цветам медленно вернулись к лодке.

Станные чувства обуревали его, когда он вновь взялся за весла. Ощущение предстоящей утраты, печаль, досада. Девушка, не глядя на него, опять опустила свои длинные пальцы в воду. Он развернул лодку, поплыли. Теперь обратно. Солнце пекло ему спину, девушка была освещена вся, целиком. Золотистая кожа ее ослепляла. Она сидела на корме так покорно, и тело ее мягко покачивалось в такт резким движениям весел. Она была почти такая же, как раньше, может быть, чуть печальнее.

Недалеко от пристани река повернула, и свет солнца стал теперь боковым. Он с новым чувством смотрел на ее серые туфельки, сжатые колени, зеленое платье, милое, задорное, немного грустное теперь лицо, волосы. Руки отказывались грести.

– Могли бы поехать ко мне в гости, правда ведь? – сказал он вдруг. – Как-то не пришло в голову...

– Ну, что ты, – спокойно ответила она. – Я бы все равно не пошла. А мне на лодке понравилось. Тебе не понравилось разве?

С раздражающим стуком лодка ударилась о мостки. Ощущая свое лицо как маску, он расплатился, взял девушку под руку и, выглядя задним числом таким лихим донжуаном, небрежно болтая о чем-то, повел к остановке.

Сели в трамвай. Теперь было гораздо больше народу, пришлось стоять. Она по-старому доверчиво, почти по-детски прислонилась к нему, а он стоял не шелохнувшись, отводя в сторону пылающее лицо. Потом вдруг, как бы нечаянно, положил руку на ее гибкую талию. Она слегка вздрогнула, но не двинулась. Однако рука слишком дрожала, пришлось ее вскоре убрать.

Он старался не смотреть на нее и молчал. Не хотел, чтобы она поняла. Да и потом, в ней ли дело? При чем тут она? Собственно, кто она такая? Обыкновенная девчонка из толпы, самая обыкновенная, ну, хорошенькая, может быть. Слишком молоденькая к тому же. Что он навоображал?

Трамвай довез до метро, они вышли. Ступили на эскалатор.

– Тебе до какой станции ехать? – спросила она.

Он ответил.

– А мне дальше. Только ты не провожай меня, ладно? Так лучше. А у тебя есть телефон?

Он сказал, что есть, что напишет сейчас, но она попросила назвать.

– Я запомню, у меня память хорошая.

Он назвал, продиктовал, глядя в ее глаза. Ему казалось, что из его глаз источаются какие-то струи, которые бережно омывают, гладят ее лицо.

– Все, запомнила. Перед отъездом я тебе позвоню. Ладно?

– Обязательно. И если будешь потом в Москве, тоже. Обещаешь?

– Конечно. Ну, пока. Все было хорошо, мне понравилось. Жаль, что уезжаю. Но я родителям обещала, ждут. Спасибо тебе.

Они простились за руку, как приятели. И она спокойно пошла. Как ни в чем не бывало.

Уже войдя в вагон и еще раз оглянувшись, он уже не увидел ее. Он не знал, куда ехать, что делать. Наверное, лучше бы вообще ее не встречал.

Придя домой уже в поздних сумерках, погрузился в состояние оцепенения. Сидел в пустой квартире на своем семейном диване неподвижно, тупо уставившись в одну точку, до тех пор пока не стало совсем темно. Тогда, не зажигая света, разобрал постель и лег.

А утром на столике зазвонил телефон.

2

Звонили из редакции с напоминанием о том, что сегодня – последний срок сдачи сценария. Да, нужно было садиться за работу. И словно оборвалось все вчерашнее.

Поднимался нехотя, нехотя шел под душ, чистил зубы. Опять навалилась обычная суета, которая несколько скрашивалась, может быть, воспоминаниями о командировке, отсутствием жены. В общем-то не так плохо было в пустой квартире, освещенной утренним солнцем. Хотя, в сущности, это кратковременная передышка, не более. Приедет жена, все покатится по-старому.

Воспоминания о вчерашнем пока не слишком давали о себе знать. Он старался не думать. Из чувства самосохранения решил пока этот эпизод из памяти вычеркнуть. Ничего сверхъестественного ведь не произошло. И слава богу. Кратковременная случайная встреча, нечто вроде маленького «солнечного удара», если воспользоваться выражением Ивана Бунина. Солнечный удар не слишком большой силы. Бог с нею!

Он сел за пишущую машинку.

Вот что мешало их семейной жизни всегда. Его работа. Не та работа, которой он занимается сейчас, не откровенная халтура. Писатель, если он хочет стать им на самом деле, должен работать много, забыв о постороннем. С его супругой это получалось не очень. Нельзя сказать, чтобы она не хотела его успеха. Она никак не могла понять, что для этого успеха нужно. Так или иначе она постоянно отвлекала его, то дергая из-за пустяков, то упрекая в недостаточном к ней внимании и ревнуя. Чего-то ей не хватало для того, чтобы стать выше и осознать, а потом по-настоящему полюбить работу мужа. Когда же появилась дочь, о работе вообще думать почти не приходилось. Он начал писать кое-какие поделки – статьи, обзоры писем, рецензии, теле-сценарии. В этом качестве удалось даже преуспеть, но ни он сам, ни жена не обольщались на этот счет. К тому же ему, а может быть, в глубине души и жене было ясно, что все это в один прекрасный день кончится. Потому ли, что перенапряженные нервы сдадут, или же оттого, что благоприятное положение в редакциях изменится, и предпочтут кого-то другого – более оборотистого и покладистого. Он понимал, что совсем бросить работу «для денег» нельзя. Но чтобы получить на нее моральное право, надо было продолжать истинную работу, «для души». На что никак не хватало ни сил, ни времени.

Пока сидел над сценарием, вымучивая его по строчкам, телефон, стоявший в прихожей, вел себя странно. Несколько раз принимался звонить, но когда он снимал трубку, в ней раздавались или частые гудки, или один сплошной. Была мысль вообще накрыть аппарат подушкой, как он частенько делал. Что-то около двенадцати он в очередной раз снял трубку и вместо гудков услышал запинаящийся голос.

– Это ты? – неуверенно спросили из трубки, и он тотчас понял, что это звонит она.

– Здравствуй... Я уезжаю вечером... – проговорил голос и смолк.

– Так, может, зайдешь? – спросил он, едва справляясь с волнением.

– А как? Где ты живешь? – робко осведомилась она.

И он объяснил.

Минут через двадцать раздался дверной звонок. На пороге стояла она. Она улыбалась. В руке у нее были три алые махровые гвоздики на длинных стеблях. Как-то очень запросто, между прочим, она протянула их ему. И вошла.

Когда она вошла, квартира незаметным образом потихоньку преобразилась. Воздух стал, что ли, свежее или солнца прибавилось? Было такое ощущение, что стены совершенно необъяснимым образом ожили, зазолотились и потеплели, а стол, диван, другие предметы чуть-чуть шевельнулись, стряхивая оцепенение. Было такое впечатление, что вместе с ней всплыло в комнату нечто таинственное, потому что стены, ограничивающие пространство, уже как бы ничего

не ограничивали. И словно бы чувствовалась теперь за стенами бесконечность мира, залитого солнцем мира. И пряно, свежо, сильно пахли гвоздики.

Это было что-то необъяснимое, и не желая вновь, как вчера, впасть в полугипнотическое состояние, он энергично встряхнул головой, разгоняя чары. Но никакого гипноза как будто бы не было. Наоборот, он чувствовал себя очень легко и свободно.

– Вот, видишь, тружусь. Сценарий сочиняю, – весело сказал, указывая на пишущую машинку. – Сегодня сдавать.

Он сказал это очень просто и сам удивился, как естественно получилось. Он почему-то был совершенно уверен, что она поймет его именно так, как нужно, и не обидится.

– Не буду тебе мешать, – живо сказала она. – Садись, работай. У тебя есть что-нибудь интересное почитать?

Он дал ей журналы, посадил на диван и, сказав, что отнести сценарий нужно не позже двух, вернулся к машинке. Это было невероятно, но ему моментально удалось сосредоточиться. Сценарий пошел на третьей скорости, хотя он ни на минуту не забывал о ее присутствии, ощущая ее не только ушами (перелистывала журналы, шевелилась, вздыхала иногда), но даже кожей спины. Странное дело, этот отвлекающий момент вовсе не был сейчас отвлекающим. Совсем даже наоборот. Он нашел оригинальный сюжетный ход, который связал все в сценарии и оживил. Не бог весть какое художественное произведение, а приятно. Но главное – он ни разу не отвлекся! Нет, это было удивительно все-таки. Какой-то таинственный феномен.

Закончив сценарий, поставив последнюю точку, он нарочно посидел несколько минут молча, не оборачиваясь... В квартире был мир и покой. Слышался шелест переворачиваемых страниц, дыхание. Простучали легкие шаги – она подошла к окну. Потом опять села. А ведь даже стук шагов, даже шелест страниц можно сделать весьма выразительным. О, он это хорошо изучил.

– Я все сделал, – сказал он, оборачиваясь, оседлав стул. – Но теперь нужно отвезти. Ничего не поделаешь. Хочешь со мной?

– Это далеко?

– Нет, не очень.

– А удобно?

– Тебе придется минут пятнадцать подождать в проходной... Впрочем, если хочешь, останься здесь, подожди.

– Нет, поедем. Если только я не помешаю. Я с удовольствием. Даже интересно.

И они поехали в редакцию вместе. Пока ехали, он несколько раз внимательно смотрел на нее. Да, она действительно была хороша. Ростом не намного ниже его, хорошо сложена. Лицо не слишком правильное, но именно в неправильности неизъяснимая прелесть. Да, он еще раз убедился, что очарование ее не в деталях, а в удивительной гармоничности, живости и раскрепощенности ее. Впрочем, фигурка была просто великолепна. Глядя спокойно, по-новому открывая ее, он воспринимал эти объективные качества как подарок. Она вполне могла бы быть и менее хороша, вряд ли бы его отношение к ней изменилось. Но то, что она была, *кроме того*, хороша, воспринималось теперь как везение, как улыбка судьбы.

– Я быстро, минут пятнадцать, ты посиди здесь, – сказал, оставляя ее в проходной.

И – ринулся в пронизанное электромагнитными волнами пространство телестудии. Над всей довольно обширной площадью, над корпусами, над автобусами-гигантами ПТС и микроавтобусами, над прожекторами и другой телетехникой, над множеством появляющихся то здесь, то там человеческих фигурок неодолимо и безраздельно господствовала стальная ажурная вышка. Искалеченное, израненное, иссеченное на куски пространство как будто бы слегка дрожало. Максиму казалось, что волны пронизывают человека насквозь, до внутренностей, до мозга костей, до клеточных ядер – и все клетки организма тоже начинают дрожать в унисон, а в голове возникает легкий, едва ощутимый зудящий звон и шип. Телевышка работала!

Он, торопясь, шагал по дорожке вдоль корпусов, чувствуя себя маленьким, незаметным под сенью вышки, он спешил, помня, что там сейчас она осталась одна. Такая трогательная, беззащитная... Скорее, скорее сдать – с плеч долой, и – за город, с ней, куда-нибудь на природу, подальше, куда-нибудь...

Впрочем, в самом корпусе и в редакции было как будто бы очень обычно. Обыкновенное учреждение, только, возможно, чуть более взвинчены все. Чуть больше усталости в конце дня.

Редактора на месте не оказалось. Собственно, ничего удивительного – таков уж он был, телевизионный стиль, можно назначить и по рассеянности уйти, можно вообще забыть все на свете. Нервничая, он посидел минут пять.

– Он здесь вообще-то. Вы посидите, – сказал другой редактор из-за соседнего стола, подняв от рукописей блуждающий взгляд. – Его портфель в шкафу. А на столе – видите? – папка...

Да, папка была, и портфель из шкафа торчал. Не хватало, чтобы он и совсем ушел. Но нельзя ждать! И он отправился в поиск. Заглядывал по очереди в комнаты этажа, всматривался в каждого встречного, но редактора – невысокого, угрюмого человека с выразительными восточными глазами – не было нигде. Наконец кто-то надоумил посмотреть в буфете. Редактор сидел за столиком, меланхолически жевал бутерброд и пил минеральную воду...

Выходя со студии, ожидал увидеть ее обиженной или уставшей (а может быть, и вообще не увидеть: его не было не 15 минут, а целых 35!), но встретил просиявшее при виде его лицо, на котором не было и тени упрека. И опять на него повеяло свежестью. Глаза, лицо, вся ладная фигурка ее были маленьким автономным миром, необычайно устойчивым даже здесь, даже в этом наисовременнейшем суетном аду.

– Пойдем быстрее отсюда, пойдем, – сказал он, беря ее за руку.

Но опять скоро нужно было ей уезжать. Когда они шли по улице, удаляясь от вышки, он понял вдруг, что те часы, которые вновь были отпущены им – неожиданно и щедро, – они опять провели не так, как, видимо, нужно было бы, как хотелось. И опять слишком поздно он спохватился. Ведь можно было бы наплевать на сценарий!

Она сказала, что не успеет к нему заехать, скоро поезд, и чтобы он посадил ее в метро, а дальше не провожал. Потому что родственники, не дай Бог, увидят.

Что было делать? Взять адрес, бросить все к черту, приехать к ней? Или оставить ее у себя, добиться развода, подыскать комнату, начать все сначала? Вспомнилось, как рада была квартира ее приходу – совсем иными, колючими и враждебными становилась вещи во время частых семейных ссор! Промелькнула сумасшедшая в своей непомерной радости мысль о том, что с ней, видимо, он *смог бы работать*...

Но... у нее родители, о которых он понятия не имеет (и они о нем), и – самое главное – она сказала, что поступила там, в своем городе, в институт. Отпустить ее сейчас, а потом все обдумать? Если бы можно было перевести ее сюда, в какой-нибудь институт, близкий по профилю...

– В каком же институте ты будешь учиться теперь? – спросил.

– В политехническом.

– Сколько тебе лет все-таки?

– Семнадцать.

Еще одна новость, еще одно. Несовершеннолетняя. Акселерация, веяние времени. Она ровно в два раза моложе его. Ровно вдвое.

– Ну, что же, до свидания? – сказала она, опять весело глядя ему в глаза.

– Боже мой, что же делать? – в отчаянии проговорил он.

– Я приеду к тебе как-нибудь. Обязательно. У меня же есть твой телефон. И квартиру знаю.

– Да, конечно. Конечно, обязательно приезжай. Институт – вот в чем загвоздка. Я понимаю, конечно. Институт.

– Ну, так до свидания же. Я пошла. Спасибо, все было хорошо...

Они уже были в метро, под землей, уже на станции. Сказав последнее, она повернулась и вошла в вагон, который как раз стоял наготове. Дверцы сдвинулись. Сквозь стекло он видел ее лицо и видел, как она слегка машет ему рукой. Вагон дернулся, и изображение за дверьми унеслось в тоннель. Поезда не стало, только ветер гулял. И адреса не оставила.

С совершенно трезвой, будничной ясностью Максим понял, что повторился вчерашний вариант. С небольшими отклонениями в смысле декораций. Вчера было метро, трамвай и лодка, сегодня – его квартира, телецентр и... опять метро. И опять она уехала, оставив его одного. Совсем одного. Приедет... Приедет ли? Семнадцать лет – все забудется скоро. Институт, в который трудно было, наверное, поступить, новые интересы, встречи. Город... Она сказала, что родом не из самого города, а из поселка. Теперь будет в городе. То немного, что было у них, забудется быстро. Тем более в семнадцать-то лет. Для него событие, а для нее... Так, нюансы. Надо прожить полжизни и перечувствовать кое-что, чтобы по-настоящему оценить... Им вдруг овладела ненависть к самому себе. Сценарий! Как он мог возиться со сценарием, когда... О, боже, нудный, расчетливый сухарь. Сам, сам виноват во всем. И жена ни при чем. Только сам.

3

Но и в тот вечер девушка не уехала. Она позвонила утром. И сказала, что если у него есть время, они могли бы пойти в кино.

– Хорошо, – ответил он. – Но послушай... Может быть, ты просто приедешь ко мне?

– Нет, лучше не надо. Давай лучше сходим на что-нибудь днем, хорошо? А потом погуляем. Сегодня должна же я наконец уехать.

Настаивать было бы глупо, и он согласился. В кино с ним происходило нечто невероятное. Только один раз, очень давно, сидя в кино со знакомой девушкой, он испытывал нечто подобное. Но тогда быстро прошло, хотя он помнил о том случае до сих пор. Сейчас было сильнее несравнимо. Ему казалось, что тело его плавится, распадается на молекулы, хотя мышцы были напряжены и дрожали. Примерно то же самое, по-видимому, происходило и с ней.

– Уйдем, – несколько раз предлагал он ей.

– Нет. Пожалуйста, нет, – жалобно просила она, и они сидели.

Не в фильме было дело, конечно же, не в фильме. Он только в самом начале держал в своей руке ее руку, но потом она мягко отняла ее, и они не прикасались друг к другу, потому что и рука, и плечи ее слишком дрожали. Сеанс кончился.

– Может быть, все-таки зайдем ко мне? – тупо спросил он, когда вышли.

– Нет! – испуганно сказала она.

Впервые он видел ее такой.

– Знаешь, давай зайдем все-таки, – предложил он через некоторое время гораздо спокойнее. – Ничего не будет, не бойся. Мне хочется, чтобы ты побывала у меня еще раз. На прощание.

Они вошли, и квартира при виде ее опять встрепенулась.

Она была у него, ходила по комнате, ставила что-то на стол – чашки, рюмки – он, глядя на нее, стоял у окна, касаясь щекой портьеры, которая тоже, кажется, была сейчас шелковистее, мягче – от ее присутствия! – и в комнате звучала неизъяснимая, чарующая, воспринимаемая всеми клеточками и его, и ее существа музыка. Мелодия была прекрасна. Она была прекрасна потому, что один инструмент не подчинял себе до конца другой – они шли навстречу друг другу, и сливались в гармонию, и расходились вновь, и каждый из них звучал богаче в присутствии другого, но всегда можно было различить партию каждого, несмотря на то, что общая мелодия была несравненно прекрасней. Это был унисон, резонанс, гармония – то удивительное явление природы, когда сочетание элементов рождает нечто гораздо большее, чем простая сумма слагаемых. Не было оправы и камня, фундамента и надстройки, главного и второстепенного, хозяина и раба – было удивительное взаимопроникновение и взаимодействие, божественное единство...

– Знаешь, я влюбилась. Я люблю тебя, – без всяких околичностей сказала она вдруг, и это было, как дыхание, просто. – Только, пожалуйста, не подходи ко мне близко. Пожалуйста. Очень прошу, на самом деле. Не обижайся. Умоляю тебя. Я тебя люблю. Я сама себя грызу, но нельзя, понимаешь, нельзя!

В мути, внезапно обволокшей мозг, он все же попытался приблизиться к ней. Из последних сил она ускользнула, он видел – из последних сил. Он все же держал себя в руках и уже сейчас, уголком сознания, был неожиданно горд этим.

– Все-таки мне лучше уйти. Прости. Пожалуйста. Так будет лучше! Ладно? До свидания. Перед отъездом я тебе еще позвоню, обязательно. Завтра я наконец действительно уезжаю. Я люблю тебя. Прости.

И она ушла. Невероятно, но она ушла.

Она ушла из квартиры, он смотрел в окно, видел, как идет она, маленькая ее фигурка, идет, не оборачиваясь, чуть ссутулившись, наклонив в растерянности голову, и какие-то нити рвутся, причиняя боль. Он чувствовал, он слышал, что переживает сейчас она, *знал* – и бережно брал в ладони игрушечную отсюда, сверху, с четвертого этажа, фигурку, осторожно согревая в ладонях. Вот она скрылась. Ушла.

Он ходил по комнате, не находя себе места, не зная, что делать в течение всего вечера, чем занять себя. Бесконечно занятый как будто и так! Он рассеянно смотрел на стол, на котором расплывалось мороженое, отвлеченным каким-то символом коченела бутылка. Наполненными и нетронутыми, холодно, рубиново посверкивая, стояли рюмки с вином. Белела внутренность чашек. Утихало смятение, успокаивался, оседал послушно абстрактный вихрь – надвигавшаяся гроза, так и не разразившись, рассеивалась... Она ушла, эта мудрая маленькая женщина. Она ушла.

Он смотрел в окно – на улицу, освещенную, осиянную ее недавним присутствием, – улица еще не забыла ее, еще свежи следы, еще цела вогнутость на асфальте от маленьких каблучков, еще где-то близко – не унесены еще ветром – молекулы, которые она выдыхала, еще и окна, и стены домов помнят поспешное ее движение...

Он сел на подоконник, понимая, что теперь больше нечего ждать. Что было, то есть. Он дышал глубоко, словно и сам воздух вокруг него изменился, и, не подгоняя себя, не сокрушаясь и не страдая, думал. Думал о ней.

Зазвонил телефон. Он вздрогнул, напрягся, мгновенно взвилось, закружилось все снова, задергалось, затрепыхалось сердце, словно на привязи... Да, это была она. Волнуясь, срывающимся голосом на том конце провода – где?.. где?.. – она просила прощения за то, что ушла, сказала, что позвонит перед отъездом еще, обязательно.

– Я люблю тебя, – повторила она и повесила трубку.

Тихий, он вернулся в комнату, не понимая, чего сейчас больше – благодарности, горечи или грусти.

Она звонила и на другой день утром. И снова встретились, теперь в метро. Опять в метро. И он провожал ее на вокзал. Она сказала, что ее старший брат за ней очень следит – всегда встречается, – а есть еще и тетя, так что лучше, если он до самого поезда не будет ее провожать.

– Я провел три просто чудесных дня, я хочу, чтобы ты знала, – сказал он, когда они спускались на эскалаторе. – Меня страшно тянет к тебе, так никогда не было...

– И меня, – успела она вставить.

– Я никогда не забуду, – сказал он.

– И я, – эхом отозвалась она.

Странно. Они расставались, а у него сейчас не было горечи. Такая естественная она была опять, такая свободная. Трудно было пока осознать, но и он чувствовал в себе нечто новое. Не было тяжести, грусти. Подземная станция переливалась красками, звуками. Люди тоже почему-то казались не такими близкими.

– Записать мне твой адрес? – спросил он.

– Зачем? – просто ответила она. – Что ты будешь с ним делать? Ты работай. А у меня институт. Я ведь знаю твой телефон и помню квартиру. Я приеду. Позвоню и приеду. Обязательно! Я ведь не забуду тебя. Но... А теперь иди. Не оглядывайся, иди. Я хочу, чтобы ты ушел первый. Все было хорошо, просто чудесно, ведь правда? До свидания.

Он смотрел на нее, понимая, что это, скорее всего, в последний раз. Потом повернулся и пошел, не оглядываясь.

Поначалу была и растерянность, и тоска, и горечь, и мысли о безнадежности, о потере и даже слезы чуть-чуть... Но – поначалу только.

В этот раз она действительно уехала.

Она уехала эта стройная девушка из толпы, эта вестница чего-то. Чего?

В вазе на его письменном столе пламенели гвоздики.
Она не звонила и так и не приехала, но он запомнил ее на всю жизнь. А она?



Отзвук песни

В первый раз я увидел ее, лежащую на гальке крымского пляжа. Коричневое, уже хорошо загорелое тело и две тонкие белые полосы купальника, руки и ноги раскинуты. Этаким крест или даже пятилучевая звезда... Молодое лицо в темных очках и темно-каштановые пышные волосы, разметавшиеся по гальке. Рядом с ней еще четыре женские, вернее, девичьи фигуры в разных позах, но она занимает центр композиции.

Я не один, нас четверо мужчин, мы стоим наверху у парапета набережной, мы в плавках, которые еще не высохли после недавнего купания, и, стараясь сохранить веселый и независимый вид, мы зорко посматриваем вниз с чувством лихих, но не агрессивных охотников. Трое, кроме меня – сослуживцы моей сестры Риты, отдыхающие в здешнем пансионате, мужчины среднего возраста, мы только что познакомились, искупались и вот, решили прогуляться вдоль набережной.

Я вижу ее, лежащую, и у меня колотится сердце – она прекрасна, великолепна, а я свободен, – естественно, возникает тотчас привычный, но и мучительный позыв к действию – очередной предстоящий экзамен! Конечно, тут же и холодок страха, предательская струйка неуверенности: а может не стоит, может, она все-таки не столь хороша, и я имею полное право не подходить?

Не имею. Хороша. Даже очень! Никуда не денешься, отступить некуда – прыгай с вышки и будь что будет... Правда, спутники мои – двое из них с ранними, но объемистыми животиками и с этакой всепрощающей мягкостью во взгляде (зачем суетиться? не надо... лучше пивка...) – делают вид, что вовсе не замечают тревожной этой, кричащей, можно сказать, и – обязывающей красоты.

И все-таки, как бы не обращая внимания, мы по инерции проходим дальше... Но потом не спеша возвращаемся. Картина та же.

– Ребята, – говорю я, не в силах устоять перед чувством долга, – может быть все-таки подойдем? Смотрите, девчонки одни, и их как раз почти столько же, сколько нас. Одна даже лишняя. Подойдем?

Мнутя мужики.

– Молоденькие уж больно, – наконец, говорит один.

– Да что вы, ребята, – возражаю активно. – Лет по двадцать-то ведь им есть. А то и больше. Самый раз.

Мнутя мужики, не решаются.

– Витя, – обращаюсь к самому молодому, он и похудошавее и посмелее. – Может, с тобой? Двоих и отколем. А? Ты как?

Улыбается Витя, молчит. Думает.

– Удивительно все же. Вечная загадка, – задумчиво говорит один из мужчин, Сережа. – Отношения мужчины и женщины... Так просто, кажется. Но и так сложно. И такое ведь чудо иной раз бывает...

Я благодарен ему, хотя он и пытается уже заменить действие философией.

– Вот в том-то и дело! – подхватываю тотчас. – Вот и давайте. В поисках чуда...

– Знаешь, идите-ка вы вдвоем с Витей, – задумчиво подводит итог Сережа. – Потом нам с Толей расскажете. Давай, Витя, вперед...

Витя решился, наконец. И мы спускаемся по каменным ступенькам с набережной на пляж. Шурша галькой, подходим. Присаживаемся на корточки рядом.

– Девушки, а можно вас сфотографировать? Вы так хорошо смотрите... – Это кидаю пробный камень я.

Она, звезда моя, лежавшая до сих пор, садится. Встряхивает волосами. Снимает темные очки. Большие карие глаза, точнее даже не карие, а темно-чайного цвета. Почему-то печальные. Фигура – само совершенство...

– Сфотографировать? А вы что, фотографии?

– Да нет, просто так. Вы нам нравитесь...

Таня. Из украинского города Макеевка.

И уже поют во мне трубы, и трепещет в ожидании сердце, и тотчас словно невидимые нити протягиваются...

Ну, в общем, познакомились мы довольно легко. Сговорились с двоими и вечером идем к нам на квартиру. Покупаем шампанское, виноград, конфеты. Сестра Рита садится с нами за стол. А потом мы с Витей провожаем девушек к ним домой – они здесь тоже «диким образом», снимают две комнаты на пятерых.

Перед самым их домом, перед прощанием, расходимся по парам.

– Давай посидим немного? – говорю Тане, и мы располагаемся на скамейке в зарослях крымских вишен.

Целуемся. Она прижимается ко мне высокой упругой грудью, и у меня перехватывает дыхание. Тело у нее действительно потрясающее, трепетное, талия тонкая... Она дышит беспокойно, явно взволнована, однако руки мои ниже пояса пока не пускает.

На скамейку, на нас падает свет от какого-то фонаря, изредка проходят мимо люди, шурша дорожной щебенкой, они могут нас видеть. Я вынырываю из сладкого знойного облака, поднимаю голову, оглядываюсь. Других скамеек рядом нет, но в нескольких шагах – укромная темень под вишнями. Я прошу Таню встать, хватаюсь за скамью – она, к счастью, не вкопана, – перетаскиваю в укрытие, в густую тень. Мы тотчас опять садимся, мгновенно сливаемся в поцелуе. Она вдруг перестает сдерживать мои руки. Одна из них тотчас же ныряет вниз, минует резинку трусиков, мягкие пружинки волос, достигает нежных, совершенно мокрых и скользких уже складочек... Таня вздрагивает и говорит:

– Только чтоб без последствий, ладно?

В волнении я не расслышал – не понимаю, переспрашиваю машинально:

– Что? Что ты сказала?

– Только чтоб без последствий. Хорошо?

– Да, конечно, конечно, – бормочу, поняв и волнуясь. – Ты ничего не бойся.

А она откидывается назад и вытягивается на скамье навзничь... Осторожно и бережно стаскиваю тонкие узкие трусики, быстро освобождаюсь от всего лишнего сам, ее ноги мягко и медленно раздвигаются, и словно измученный жаждой, истосковавшийся в безводной пустыне путник, я немедленно проникаю в прохладный и влажный, нежнейший источник. Не устаю удивляться: какое же это блаженство! Материнское уютное, укромное лоно... Мои руки охватывают роскошь ее ягодич – кожа бархатная, упругая, – ее ноги обнимают меня, мои губы целуют шею и полные нежные груди, ловят соски, потом я поднимаюсь выше и впиваюсь в раскрытые влажные губы. А низ моего тела – словно в огне. И вихрь, конечно, подхватывает... И вот сейчас, сейчас будет ошеломляющая, огненная, блаженная вспышка... Но стоп! – я вдруг останавливаюсь. Она же просила! Нельзя. Мгновенно замираю, сжимаю и слегка встряхиваю ее. Она – поняла! Замирает тоже, хотя чувствую, ей нелегко замереть сейчас...

Мне кажется, что я в солнечном небе – словно жаворонок весной. Апрельское солнце шпарит, а он трепещет в голубой вышине и от полноты жизни заливается колокольчиком... Или нет – я рею в голубизне, словно облако. Светящееся, свободное...

Медленно течет время, оно почти остановилось, Таня, похоже, тоже парит в невесомости. Но вот чувствую: опасность миновала, прилив отступил. Я снова хочу проникать в нее – глубже, глубже! – снова и снова ласкать и терзать ее послушное тело... И я ослабляю свое объятие. Она все понимает, и мы набираем темп – опять словно готовимся к взлету... Огнен-

ный вихрь, смерч! Вот, сейчас... Но нет, стоп! Опять в самый последний миг – на грани... И вновь мы парим, трепеща вместе, и от того, что она так понимает меня, так послушна, я в восторге особенно. Время, кажется мне, сочится по каплям – ароматные, медовые, они светятся и искрятся – словно падающие звезды в летней ночи, или, может быть, березовый сок весной... Ничего, ничего нет важнее сейчас: и мы с ней – одно... Я чувствую, я ощущаю, что и она тает в блаженстве, я слышу, как она чуть-чуть, еле слышно, постанывает. Глаза ее закрыты, лицо откинута, волосы разметались – мучительно прекрасно все это в зыбком, слабом сиянии ночи. Ощущаю как бьется ее сердце под нежной, расплющенной мною грудью, как вибрирует каждая клеточка роскошного, горячего, напоенного южным солнцем тела. А уж мой механизм в груди так и колотит молотом, и мощный мой стержень любви внутри нее восторженно и яростно полыхает...

Долго длится эта блаженная пытка. Я не хочу пачкать ее, не хочу после разрядки становиться расслабленным, опустошенным. Сдерживаюсь, останавливаюсь каждый раз, когда, кажется, что вот-вот блаженное извержение состоится. И у меня – получается! Самое удивительное, что мне как будто бы эта разрядка уже и не обязательна! Важнее то, что я с превеликой радостью вижу: ей хорошо, она блаженствует, она счастлива, я – могу!! Мне вполне хватает полетов в невесомости вместе... И приподнимаясь над ней на выпрямленных руках, я вновь и вновь смотрю и с неослабевающим восторгом вижу – закинутое в блаженстве лицо, разметавшиеся по скамье роскошные волосы, мучительно прекрасные, светящиеся во мраке почти не загорелые груди... «Отец! – мелькает в моем сознании. – Смотри! Ты видишь? Я научился, отец, смотри...» Отец мой был не орел в этом смысле, как мне рассказывали. Я мало видел его, жил с сестрой Ритой и бабушкой, которая взяла надо мной опеку, когда отец погиб в автокатастрофе – мне тогда не исполнилось и двенадцати, а мать умерла еще раньше, за шесть лет до того. И именно по рассказам родственников я знал, что отец был стеснительным и скромным, весьма неуверенным в себе да еще и болезненным. Я тоже поздно и с огромным трудом преодолел жуткую неуверенность, робость перед девушками. Но теперь...

Да, я выдержал до конца! Так и не разрядился! Так никогда еще не было у меня ни с одной из моих женщин.

Провожая ее до двери дома, полный сил, абсолютно счастливый. И понимаю, что опять сделал открытие! Можно и так, оказывается, сохранив силы, думая прежде всего о ней – Женщине! – и в этом ловя самую высокую радость. Я иду к себе с чувством великой победы: могу! Научился! Я обуздал мощного боевого коня, он – в моей власти...

Утром после завтрака я нахожу ее на том же пляже, и сначала мы идем вдоль берега к «дикому» пляжу, к камням, с нами и Витя – встретили его на набережной и узнали, что у него с девушкой, как будто, не завязалось... Потом отбиваемся от него и идем вдвоем. Она немного стесняется – при свете дня ей неловко за столь быструю свою «уступку» вчера – небось, сказала подругам, и те (из зависти, разумеется) осудили ее, – но я мягко пытаюсь развеять ее сомнения: что ты, милая, это наоборот хорошо, зачем же нам дурацкое лицемерие? Я люблю ее походкой: она несет себя как безусловную ценность, это органично в ней, она не старается что-то специально продемонстрировать мне – само собой получается. Что грудь, что плечи, что талия, ноги – мне кажется, она сложена идеально! Каштановые волосы бронзово отсвечивают на солнце, а чайные глаза, когда она снимает темные очки, искрятся. Великолепная Таня, прекрасная.

Расстаемся ненадолго – она обещала обедать с подругами, – потом опять встречаемся и сразу идем ко мне, то есть туда, где мы с сестрой снимаем комнату в квартире. Сестра на пляже, я просил ее подольше не приходить, а хозяйка квартиры днем на работе. Таня раздевается совсем, до конца и ложится на кровать.

И вот тут, наконец, я вижу ее по-настоящему, всю. Впервые при свете дня.

Она и на самом деле прекрасна. Столь идеального тела я, пожалуй, еще не видел. Белые незагоревшие полосы кожи слегка портят картину, нарушая божественную гармонию, но все равно просто нельзя отвести глаза. У меня даже не возникает немедленного желания целовать, обнимать и, тем более, проникать в это чудесное тело. Оно – сама поэзия, живое чудо, «песнь песней». Я думаю, что именно такое предчувствовал я когда-то, в давние, давние годы! – когда лежал на жалкой своей кровати рядом с той, которая стала потом моей второй женщиной, но с таким опозданием и со столь неприятным финалом. Теперь – вернулось, и – состоялось!... Не ошибся я в своей вере! Заслужил, заработал... Я смотрю на Таню чуть ли не со слезами – в горле ком, и уже пощипывает глаза. Волнистые, обтекаемые, плавные линии, немыслимая грация и божественное сияние. Вот же откуда «Нимфа» Ставассера, «Купальщица» Камиля Коро, картины Ренуара, Энгра и скульптуры Кановы! – думаю я. Вот откуда Роден. Все – верно! Они не обманывали, ничего не выдумывали. Так оно на самом деле и есть.

Таня лежит уютно, удобно, самодостаточно. Она спокойно смотрит на меня, хотя и догадывается, думаю, что чувствую я. А я прямо-таки ошеломлен этой волшебной магией красоты.

– Ты что? – спрашивает с легкой улыбкой, вскинув свои бездонные, чайные, абсолютно спокойные очи.

– Ты... великолепно смотришься, – отвечаю, первое, что приходит в голову.

– Да? – с улыбкой переспрашивает она. – Спасибо. Мне приятно, что ты так говоришь...

Но чувствую: она не представляет себе степень моего восхищения и характер его. Любопытствуя обнаженной женщиной вот так, эстетически, не набрасываясь на нее тотчас, не принято.

– Ты, наверное, не представляешь, насколько... – все же говорю я. – Насколько все это красиво. Ты просто великолепна...

И тут словно вихрь подхватывает меня, сердце колотится, голова кружится, в горле ком... Я приближаюсь, обнимаю ее, и она так же медленно и спокойно, как вчера, раздвигает ноги. Я проникаю в ее роскошное тело, и тут...

И тут кто-то гремит ключом в замке двери, и я слышу, что в прихожую входит хозяйка. Хорошо, что мою широкую кровать отделяет от комнаты занавеска – мы ведь с сестрой в одной комнате, это моя кровать, а ее кровать тоже за занавеской. Хозяйка не входит в нашу комнату, но двери в прихожей нет, и если бы не занавеска, хозяйка могла бы нас увидеть. Тихо побыстрому одеваемся, уходим...

Чуть-чуть гуляем в поселке, потом ей зачем-то понадобилось сходить на свою турбазу. Но встречаемся вечером.

...Горная дорога, полная луна над деревьями. Опять скамья, теперь уже другая, со спинкой. Роскошная Таня сидит на мне верхом, на моих бедрах, обнимая меня своими ногами. Луна ярко светит, и в голубоватом призрачном ее сиянии темными волнами переливаются густые пушистые волосы, блестят глаза, колдовским мерцанием флуоресцируют незагорелые груди. А мой факел любви полыхает, трепещет в блаженстве в таинственной, знойной и тесной глубине ее естества. Я обнимаю ее гибкую спину, талию, мне опять представляется, что мы летим в ночном южном небе, в бесконечном прозрачном просторе, среди звезд. И время остановилось, и опять мы, опять и опять, застываем, не шевелясь, и реем в божественной невесомости, ощущая себя единым светящимся сгустком, и нет ничего на свете прекраснее этого, и хочется, чтобы это продолжалось вечно, всегда...

И опять я сдержался, так и не довел себя до конца, до финала. А когда мы возвращались в поселок, глаза ее блестели в свете луны, а лицо, казалось мне, так и светилось.

...На другой день с утра мы плывем на теплоходе в Малореченское, дует прохладный сентябрьский ветер, Таня слегка замерзла. Но вот мы выходим на малолюдный пляж, идем вдоль берега к далеким диким камням. Она идет чуть впереди меня, грациозно балансируя – она опять в белом купальнике, том самом, – я не отвожу глаз от стройной этой фигурки, беззащитной и хрупкой среди камней, и сердце мое сжимается. Приближаемся к «дикому»

пляжу, людей уже нет, только стаи чаек, которые спокойно сидят и лениво взлетают, когда она первая подходит к ним почти вплотную, и белые крылья птиц сочетаются с цветом ее купальника, а загорелая кожа ее почти сливается с цветом бурых прибрежных скал. Минуем несколько крошечных бухточек, и вот уже перед нами высокие отроги большой скалы. Чтобы идти дальше по берегу, нужно перелезть через нее, но нам это вовсе не нужно: мы в закрытой маленькой бухте, она распахнута лишь морю, а в шаге от берега, в морской воде – высокий большой плоский камень, словно парящая над морем площадка, словно плоское ложе, словно маленькая сцена над морем, под солнцем. Камень сух и прогрет, он как будто бы даже мягок, и мы располагаемся на нем, словно на чьей-то большой и теплой солоноватой ладони. И вот уже... почти сразу... не сговариваясь, понимая друг друга тотчас... Я думаю, что сверху, с неба, мы смотрелись как одна светлая живая жемчужина... в плоской створке серого камня... единый... плавно и гармонично пульсирующий сгусток... И ритм наших движений совпадал с ритмом движения волн, а ее ноги, может быть, временами напоминали распахнутые, трепещущие крылья чаек... Мы перестали быть сами по себе, мы растворились друг в друге и в этом бескрайнем пространстве моря, воздуха, солнца и легкого ветра, время исчезло, нас поглотила вечность... Мы любили... любили... любили...

По небу полуночи ангел летел

И тихую песню он пел...

Он душу младую в объятиях нес

Для мира печалей и слез...

И звук этой песни в душе молодой

Остался. Без слов, но живой.

И долго на свете томилась она,

Желанием чудным полна.

И звуков небес заменить не могли

Ей скучные песни Земли.

Это одно из самых моих любимых стихотворений Лермонтова – чудесная музыка слов! И я... на том камне... вспомнил, думаю... *ту самую песню*... Она звучала для нас с Таней здесь, на земле... И не в первый раз...

– Надо же, – сказала она чуть позже, когда мы вернулись в реальность и в солнечной благодати решили отметить наш праздник фруктами и вином. – Надо же, оказывается, нужно было приехать сюда, в Крым, во Фрунзенское, с тобой познакомиться, приплыть в Малореченское, найти эту бухту и камень, чтобы... Никогда такого не было у меня, никогда. Я думала, что я... Фригидная, так это называется, да? Я ведь в первый раз в жизни... Как это? Оргазм, да? Никогда не было. В первый раз, представляешь. Я на самом деле как будто летела, на самом деле...

Конечно же, я опять был горд, чрезвычайно горд, разумеется. Тем более, что... Да, опять удалось сдержаться! Потому что... хватило всего остального, потому что мой восторг длился на всем протяжении!... Да и зачем? Мы ведь не собирались производить потомство. А божественная разрядка была все время... все время... синхронно с ней и с умиротворяющим, могучим движением волн...

А на другой день мы опять направились в горы...

И... Да, да! Именно с ней, с этой Таней, стали получаться у меня уже настоящие – волшебные! – слайды – сначала там, в Крыму, среди природы (хотя и очень мешали, конечно, слишком контрастные полоски незагоревшей кожи на месте купальника). А потом и в Москве, зимой, когда она приезжала ко мне из своей Макеевки. Приезжала не один раз...

Тогда, во Фрунзенском, мы провели с ней целых три дня. Естественно, впоследствии был написан о них этот рассказ. Естественно, я пытался его опубликовать. И естественно же, что его возвращали из всех советских журналов с четкостью отлаженного механизма.

Должны были произойти события середины-конца восьмидесятых, чтобы его все-таки опубликовали в популярном молодежном журнале большим тиражом. Через ВОСЕМНАДЦАТЬ лет...

А потом, много позже попала ко мне тонкая книжечка, под названием «Дао любви». Где черным по белому сказано о несомненной и огромной пользе именно «акта задержанного». Который воспитывает, во-первых, умение управлять своим телом и нервами – из уважения к женщине в первую очередь! – а во-вторых – экономия ценнейшего вещества, производимого мужским организмом. Несколько полноценных и долгих соитий, считают восточные мудрецы, должно произойти прежде, чем настоящий мужчина позволит себе, наконец, разрядиться! Вот какое открытие совершил, оказывается, я сам! И как же оно помогло мне впоследствии...

Эротика – радость. Эротика – песня! *«Ничего на свете лучше нету...»* – как верно поется в одной хорошей песне, хотя и о другом. *«Ходить по белу свету...»* – как сказано в песне дальше – чудесно, тем более, если ты не один, если мы – братья и сестры на прекрасной, роскошной планете. И *«звуки небес»* долетают до нас, и не скучно нам вовсе, если мы, конечно, учимся слушать.

Сейчас я люблю другую женщину, но я тебя помню, Таня, как и никогда не забуду всех, с кем удалось... Летать! И этот рассказ – наш с тобой, Таня, ребенок. И – как поется еще в одной хорошей песне: *«Ничто на земле не проходит бесследно...»*

Не «скучные» песни у нас на Земле, Михаил Юрьевич, не скучные вовсе...



Поликсена

Она сидела на листьях растения, похожего на малину, смело распахнув великолепные крылья, на светло-кремовом фоне которых с удивительным изяществом были нанесены тонкие темные линии и голубые и красные пятна. Оптимистический, гениальный в своей простоте рисунок... Неужели она, Поликсена?!

Был вечер, но в тучах появился просвет, и я вышел ненадолго из домика, в котором меня поселили. Выглянуло солнце, наконец, оживив эти горные заросли. Вдыхая аромат испарений, я поднимался по крутой каменистой дороге, потом свернул на узенькую мокрую тропинку, не ожидая в общем-то ничего, смилившийся уже с пресной реальностью, потому что дождь лил двое суток, не переставая, и тут...

Забываем, забываем, как богат земной, уныло упрекаемый нами мир! Как много непредвиденного и чудесного скрывается в нем до поры до времени, чтобы разом вдруг удивить, напомнить...

Да, бабочка существовала передо мной, и это было – напоминание. Затаив дыхание, я приближался к ней и, увидев в видоискателе фотоаппарата ее, ставший наконец резким и четким облик, нажал на спуск затвора. Потом чуть отстранился, передохнул, осторожно перевел пленку... Солнце тотчас скрылось, задернулось тучами, новые армады их все шли и шли с востока. Но было еще сравнительно светло, и я рассчитывал сделать еще несколько снимков, тем более, что бабочка не улетала.

Она вдруг зашевелилась и сложила крылышки домиком. С испода крылья ее были тоже очень красивы, невероятно красивы сейчас, в серой мути, которая опять начала обволакивать суший мир. Да, она была отблеском солнца, частицей, представительницей солнца здесь, на земле, когда само великодержавное Светило скрывалось. И она имела с ним непосредственную, не подлежащую сомнению связь, это ясно, и если бы не она, то, глядя вокруг, трудно было бы поверить, что солнце вообще существует, настолько все подернулось серой мутью. Но была, была бабочка – существовала!

Лишь три снимка успел сделать я сбоку, запечатлев ее – на пленке и в памяти, – а тучи с несолидной для их могущества торопливостью словно спешили загладить досадную свою оплошность, уничтожить все, все до одного отблески, притушить, закрыть, запретить, чтобы ничто, значит, не напоминало! Но поздно. Я успел. И уже не страшно было зловещее урчание грома. Ах, с какой радостью возвращался я в домик, бережно придерживая фотоаппарат.

Снял ее все-таки, снял! И к тому же – каюсь – взял ее с собой все-таки, хотя вообще-то я их не ловлю. Но тут ведь для того, чтобы определить поточнее – вдруг это все же не Поликсена? Увы, придавил ей грудку и взял, хотя если бы было солнце и удалось нафотографировать побольше, ловить ее я все же не стал бы.

Внимательно разглядывая ее, в который раз поражаюсь я: почему? Почему и зачем столько красоты на крыльях бабочек? К тому времени уже немало лет занимался фотографированием мелких природных существ крупным планом, но все не переставал удивляться. Каким образом вообще создана столь великолепная, столь совершенная природа на нашей планете и для чего брошены мы, люди, в этот гармоничный, цветущий, прекрасно обходящийся без нас мир? Нам дана способность воспринимать его бесконечную красоту, верно, однако многие ли из нас пользуются этой возможностью? Мы мечемся в мелких заботах и страхах, бежим куда-то, не глядя вокруг, строим крошечные, ничтожные личные мирки, не поднимая головы, не различая даже того, что у нас под ногами и рядом. И хорохоримся, хорохоримся, тратя способности на всякую ерунду. И единственное, чему действительно научились – уничтожать. А между тем – вот же она, Красота! Иной раз прямо у нас под ногами...

Вокруг была Грузия. Я прибыл сюда неделю назад в качестве корреспондента одной из центральных советских газет. То есть я был «специальным корреспондентом» – писателем, посланным от газеты, – а заданием моим было, разумеется, не фотографирование бабочек. Заданием моим было знакомство и описание многолетних семей здешнего района со всеми вытекающими из их полезной для государства многодетности проблемами. И мы с ответственным секретарем здешней районной газеты несколько дней уже ездили и знакомились, и это было весьма интересно, хотя не менее интересными были и непредусмотренные, случайные искорки впечатлений.

Ну, вот, например, рыдающие на солнце серовато-фиолетово-красноватые индюки, важно пасущиеся большими семьями на весенней травке. Рыдать они принимались дружно, когда я приближался к ним с фотоаппаратом наизготовку – и они смотрели на меня настороженно и недоверчиво. Их явно мещанский, строго положительный ум не вмещал вероятности моего чисто бескорыстного, чисто духовного приближения, а потому они разом вытягивали шеи с дряблыми красноватыми складками и дружно рыдали – рыдали перед непонятным: ведь я не кормлю их и как будто не пытаюсь сворачивать им шеи – так зачем же, зачем? Ах, как они мне кого-то напоминали!

Или – морской песчаный, дикий и захламленный пляж у поселка Хулеви, где район имеет выход к морю и куда в летнее жаркое время ездят местные жители, имеющие автомобили... Да, был, был все же один солнечный день, даже полтора, мы побывали в Хулеви как раз тогда, и я даже полежал ровно тридцать минут на солнце, подставив противно белую свою кожу лучам, нежась и отрешенно глядя на медленные плоские волны, лижущие серый песок с мелкими ракушками и полуистлевшими, вынесенными зимними штормами ветвями и бревнами, которые доживали здесь свою земную жизнь – утратив, очевидно, дух, но сохранив еще тело, разлагаясь медленно, не принося этим никому беспокойства, а даже наоборот: давая приют всяким мелким мошкам, букашкам, зашевелившимся сейчас на ярком весеннем солнце. Вот же мудрость и хозяйственная щедрость природы – безотходное производство!

А заросли лавров, мандаринов и чая? Экзотика, сплошная экзотика! А цветущий, благоухающий рододендрон, броско-желтый, с удивительно изысканной формой цветков и аристократическим ароматом – неожиданным, потому что растет он здесь где придется, можно сказать, на любых задворках и даже помойках... И конечно сиреневые гроздья какого-то вьющегося, паразитирующего на больших деревьях, растения, выставленные напоказ с пышным бесстыдством... Это ли все не отблески, частицы живого Светила? Это ли не постоянное *напоминание*?

Нет, нет, хорошо мне – было! Несмотря на дождь, который, как говорят, всегда льет здесь в весеннее время, но это тоже хорошо, потому что способствует урожаю цитрусовых и кукурузы. Хорошо было мне ездить и ходить со спутником моим...

Да, вот и спутник мой тоже – Нодар Николаевич Шония. Удивительный человек (все люди ведь удивительны, если внимательно смотреть!) – невысокий, коренастый, лет пятидесяти, округлый, мягкий мужчина, седеющий. Но в нем: в лице, в глазах, в движениях его – несомненные признаки нерастрченного еще детства. Особенно в глазах. Так взглядывал он иной раз на меня, в таком ожидании радости и шаловливом озорстве – незапланированном, непредусмотренном! Не *отблески* ли это и в нем? Хотя и никло это – привычно и неизменно – под бременем неотложных дел... И все же думаю, что путешествие со мной было и для него неожиданным отпуском, от которого он, правда, в конце третьего дня – после наших упорных поездок по многодетным семьям – устал. Наступил «уик-энд», и на пару дней меня поселили в очаровательном домике для гостей.

Итак, жизнь снова засверкала красками для меня в этой весенней поездке в Грузию, радость жизни вернулась! Вновь понимал я, кажется, зачем явились мы в этот многоцветный многообразный мир и каковы истинные его ценности! Вновь – после довольно унылого зим-

него периода в столичных каменных джунглях и тоскливых общений с рецензентами и редакторами советских газет и журналов... Радоваться надо, радоваться! Ведь есть чему.

Сама тема командировки тоже, разумеется, интересовала меня, хотя, видимо, не совсем так, как хотел бы редактор. Но я постараюсь, конечно же, постараюсь... Материал, собственно, уже собран, все записано, дома сооружу что-нибудь для газеты, хотя, если честно, мне не совсем понятно, чего от меня хотят. С одной стороны, тема, конечно же, социальная – рост рождаемости и все такое, а с другой – экзотическая: Грузия («Кавказ подо мною, один в вышине...»), красота горной южной природы, интересные по-своему люди...

Ну, вот например. Одна семья, где десять детей, и другая семья, где тоже десять детей. Две семьи, но какие же они разные! Одна – бедность, грязь, убогость, каменноевековый какой-то быт, жалкие лица детей: «Зачем, мама, ты произвела нас на свет в таком безнадежном количестве?» Другая же семья совсем иная: красивая мать, худенькая, стройная, легкая еще на подъем, с черточками аристократизма на как будто бы даже и нестаром лице. Да, да, удивительная женственность, удивительная теплота в лице Паши Петровны так и светила! Интересно, что в полной мере передалась она одной из старших дочек – пышноволосой, стройной и застенчивой черноглазой Луизе, красавице, в которой – вот что важно! – нет никакого ломания, высокомерия, но зато есть, очевидно, достоинство истинное... Она вышла нас проводить после моего корреспондентского разговора с ее матерью и отцом. С нежной и робкой, застенчивой улыбкой на бледном красивом лице вышла она, и в руках у нее была ваза с яблоками.

Был вечер, и яблоки эти горели золотом – и не от вечернего солнца, как будто бы, а от того, что держала вазу в руках именно Луиза... Вот, вот, кстати, тоже несомненные отблески солнца, сияющие и в пасмурный день! И, думаю, что если бы солнце в тот момент скрылось (а оно, вот совпадение, как раз выглянуло!) яблоки все равно горели бы в руках у Луизы, потому что сияние исходило даже не столько от них, сколько от лица Луизы, от стройной фигуры ее, облаченной в сиреневый костюм и черную модную водолазку, которая, несмотря на свои усилия, не в состоянии была скрыть еще два роскошных яблока, светящихся, кажется, сквозь черную ткань...

Отец же ее и других девяти – приземистый, строгий, седой, с густо-черными бровями, уверенный в себе, сильный мужчина. Михаил Бадурович Гогилава. Явно горд своим многоплодием, да ведь и дети все хорошо смотрятся – красивые все, не только Луиза, – отнюдь не несчастные, а главное занятие в семье – труд. Да, труд, разумеется, но еще больше понравился мне присущий всем детям отблеск свободы, такая теплота и жизнь в глазах. Вот же главная суть! Жизнь души, а не только здорового тела. Чем не тема для очерка?

И вот еще тема: государство практически одинаково помогает (то есть почти и не помогает) и той, и другой семье, но какие же разные эти семьи! Так что дело, выходит, вовсе не только в материальной помощи государства, хотя она безусловно нужна. Пройдет такой материал в газете? Вряд ли...

Была и еще семья интересная – тринадцать... Когда считали для меня – я имена аккуратно в тетрадку записывал, – то сбились, насчитали всего лишь двенадцать. Кто же тринадцатый-то? Вспоминали, вспоминали все скопом, никак не могли вспомнить, я даже спросил: может, у вас все же двенадцать? Нет, сказал отец, Габриэл Гоциридзе, тринадцать, помню ж я. Сказал с уверенностью как будто бы, а на самом деле заметил я тень сомнения на здоровом и молодом сравнительно его лице (ему всего-то пятьдесят шесть)...

Стали опять перечислять аккуратно и, наконец, установили ошибку: не записали одну из тех, кто как раз при разговоре нашем присутствовал – девочку, Джульетту. «Какие проблемы у вас сейчас самые главные?» – спросил я папашу. «Главные позади», – ответил спокойно Габриэл Гоциридзе. Оно и правда, подумал я, младшей-то уже десять исполнилось, а старшие давно все работают. «Вот проблема: машину хотим купить, а очереди никак не дождемся, – спохватился отец. – Потом у нас ведь очередь на «Жигули», а нам «Волгу» нужно, она побольше,

на «Жигули», всех не посадишь, нас много...» Ничего себе проблема, подумал я. А Габриэл Гоциридзе, как выяснилось, когда-то парикмахером работал, вот и скопил, да и дети, надо сказать, все работающие – целый коллектив, бригада семейного коммунистического труда... Влияет тут материальное? Влияет. Но в нем ли главная суть?

И все же рекорд по количеству детей побил семья Зарандия. Он – отец всех, Рамин, – познакомился с нею – будущей матерью-героиней, Лолой, – когда ему было сорок три, а ей едва девятнадцать. И... Вот они, имена: Нодари, Мери, Заури, Нели, Мишутка, Гено, Валерьян, Теймураз, Батломе, Карло, Таризель, Кетеван, Гоги, Изольда, Мате, Автандил и Тинатин... Музыка! А получается сколько? Семнадцать! Значит, не ошибся я, всех перечислил. Одиннадцать мальчиков и шесть девочек! Сам отец умер недавно, не дожив всего лишь года до своего восьмидесятилетнего юбилея. Матери пятьдесят семь, бодря еще, несмотря на то, что шестнадцать раз была беременна и рожала – только одна двойня была у них, последние – Автандил и Тинатин. Отцу, Рамину, было тогда уже шестьдесят восемь лет...

Эта семья беднее, чем семья Гоциридзе, но в общем-то не так уж и страдают, все работают – на предприятиях, в совхозе или по дому, – а государство в сущности помогает так же, как оно помогает другим...

Каков же вывод? Необходимость труда, трудового воспитания в многодетной семье? Но ведь это само собой, это естественно, что в многодетной семье основа воспитания – труд, это как и везде. Но вот ведь и еще одна семья, к примеру, и, по-моему, не менее любопытная. Всего двое детей: сын и дочь. Дочь умерла недавно, а сын погиб на войне. Умер и отец, а мать живет теперь памятью своего погибшего сына – до сих пор, вот уже 39 лет, она ходит в черном. Дом превратился в музей, где по стенам развешаны фотографии сына, на столе разложены письма, приходившие с фронта, его личные вещи. Мать – хранительница музея и печальной памяти о войне, ее знают во всей Грузии, и в День Победы, 9-го мая, каждый год сюда съезжаются тысячи людей – почтить память погибших. На железных воротах железные буквы: «Амиран Латария. 1922-1943». Разве менее достойна эта семья?

Так о чем же все-таки писать мне в статье? Что выбрать?

...Каменистая тропинка спускалась к чистейшему говорливому родничку, выложенному белыми выщербленными известняками, а в густых кущах разнообразных кустарников и деревьев перекликались изредка, напоминая о своем существовании, соловьи. Изредка, изредка – потому что и для них ведь сейчас не было солнца! Но бабочка была у меня, была! И хорошие мысли о командировке, что ни говорите, были тоже...

Домик, в котором я жил со вчерашнего дня, был тоже, кстати, великолепен. Деревянный, ажурный, голубенький, словно порхающий над обширным прудом меж вековых развесистых ив, увитый виноградом и осеняемый зарослями пятиметрового бамбука и пальм – домик, построенный, как мне сказали, для визитов самого-самого большого начальства. Ожидали года два назад самого Леонида Ильича, говорят, потому и построили срочно, но великий престарелый Генсек так и не собрался. А домик остался зато.

В самом домике, несмотря на изящную обстановку, тоже было сейчас по-осеннему мрачно и холодно. Однако теперь я не чувствовал мрака и холода, потому что было, было запечатлено уже яркое, несомненное нечто: солнечная яркая бабочка! Пасмурным днем, как это поется в песне, видел я синеву...

Темнело, хотя дождь так и не полил, я пошел отмывать ботинки к роднику. Скоро должна была прийти Луна. Да, я не оговорился, Луна в данном случае не небесное тело – оно-то как раз и не могло бы прийти из-за туч, – а вот Луна-женщина, Луна-грузинка с таким поэтичным именем и вполне человеческой, грузинской фамилией Кухалишвили должна была прийти непременно. Как она уже приходила вчера вечером и сегодня утром, приставленная директором цитрусового совхоза ко мне, чтобы приносить завтрак и ужин. И ударение в слове, означающем имя ее, было, в отличие от небесного тела, на первом слоге: Лұна.

Итак, я ждал, когда придет Луна, а пока был один во всем домике и ближайших окрестностях, если не считать расхаживающего невдалеке сторожа, пожилого мужчину, тоже грузина, по имени Ваньчжа (так, по крайней мере, звучало имя его в устах Луны) – добродушного, молчаливого, который обеспокоился, когда я ушел в горы и довольно долго, с его точки зрения, не приходил – он думал, что я заблудился. Даже крикнул он несколько раз – в молчаливые, подернутые серой мутью горные заросли. Я слышал крик, но не думал, что предназначен он для меня. Ему на радостях я тоже сказал, что сфотографировал прекрасную бабочку.

Отмыв ботинки в хрустальной воде ручейка – мутная, она все равно весело понеслась вниз по гладким камешкам в озеро, осветляясь на пути, – я вошел в домик, развернул пакетик с бабочкой. Еще полюбовался ею, даже Ваньчже показал, он подтвердил, что много здесь таких летает, отчего я окончательно успокоился. Убрал бабочку, вошел в свою комнату и включил телевизор.

Шел хоккей – передача с первенства мира, – я посмотрел немного, на звук пришел и Ваньчжа, сел скромно в дверях. Однако игра была неинтересной, Ваньчжа, посидев молча, ушел. Я выключил телевизор, принялся листать свои записи. И, наконец, в гостиной за дверью послышался голос Луны. Признаюсь, услышав его, я обрадовался не слишком-то духовно – так, видимо, радовались собаки Павлова при знакомом звуке звонка. Но в следующий миг эмоции мои стали более возвышенными: был еще один голос, кроме голоса Луны, и тоже женский, кажется, совсем молодой.

Я вышел в гостиную.

И первое, что бросилось в глаза – молодая девушка. Откуда она? Я раньше ее здесь не видел.

Что меня удивило сразу: очень похожа на русскую: почти русые, хотя и недлинные волосы, серые глаза, тонкие брови и нос тоже небольшой, ровненький, чуть-чуть вздернутый, как у хорошенькой русской. И странность была в том, что говорила она по-русски трудно, с явным грузинским акцентом, что так не вязалось с внешностью. Очень приятная была у нее улыбка – приветливая, светлая, обнажающая белые ровные зубы и демонстрирующая аккуратные ямочки на щеках. Да, просто очаровательная улыбка, что сама она наверняка знала, ибо улыбалась смело и часто, глядя прямо в глаза. Хорошая улыбка!

А вообще-то исходило от нее сияние. И если бледная Луиза – та, что с яблоками, – тоже сияла, но была она все же чисто здешней девушкой, иноземкой для меня, так скажем (как и милая женщина лет сорока Луна Кухалишвили), то эта сероглазая со вздернутым носиком тотчас же показалась мне заброшенной сюда с любимой моей ситцево-березовой родины. Землячка, почти сестра.

– Как тебя зовут? – спросил я, почему-то волнуясь.

– Тодо, – сказала она, напряженно и твердо произнося первый согласный звук, как почти все грузины, почему я и услышал именно Тодо, а не Додо, как было на самом деле. И изумился несоответствию ее имени русской внешности.

А еще, по привычке, закрепил условную связь имени с чем-нибудь, чтобы не ошибиться и не обидеть. И это что-нибудь оказалось почему-то «тодес», то есть «спираль смерти» в фигурном катании. Странно однако...

И тотчас вспомнил я почему-то про бабочку, взял пакетик, развернул его и показал Додо и Луне.

– Смотрите, какая прелесть, правда? Я ведь их собирал когда-то, а сейчас просто фотографирую.

– Я таких видела. У нас много таких летает, – сказала Додо с очаровательным своим грузинским акцентом, взяв осторожно пакетик и разглядывая мой счастливый трофей, а я обратил внимание на ее совершенно еще детские руки с обгрызенными ногтями, и эта подробность меня почему-то очень растрогала.

На вид ей было лет восемнадцать, и держалась она поначалу как-то диковато, натянуто, хотя и раскованно в то же самое время. Но раскованность была не совсем естественной, нарочитой, фактически тоже детской, что, опять же, только усилило мою внезапную и явную симпатию к ней.

На самом деле ей оказалось семнадцать. Десятиклассница, кончает школу в этом году – это выяснилось, когда мы уже сели за стол, великолепно сервированный Луной при помощи Додо. И зелень была на этом столе – лук, цицмати и кинза, – и мясо, и курица жареная, и жареная картошка. А еще весело водрузила Луна на богатый наш стол сразу три бутылки – одну водки и две сухого вина.

– Зачем так много? – спросил я.

Но Луна только добро и застенчиво улыбалась.

Я вообще-то не пью, если только сухого, да и то редко, но тут как было не выпить. И мы подняли рюмки, и предложила Луна тост по грузинскому обычаю за мое здоровье. И с удивлением увидел я, что Додо выпила рюмку водки запросто, хотя и морщилась, но выпила до самого доньшка. Пришлось, значит, и мне.

И как-то так получалось все у нас дружно и весело за этим столом, сердечно и хорошо... Луна вообще добрая очень женщина, это написано на ее лице, в улыбке проявляется, очень милая женщина, только вот грусть постоянная, это я в первый же день заметил. Полноватое темноглазое, слегка горбоносое лицо, на котором застыла жажда долго и тщетно ожидаемой радости – так казалось мне. Ну, а Додо...

Да, за столом выяснилось, что у Додо русская бабушка, а потому аккуратный задорный носик ее и большие серые глаза с длинными темными шелковистыми ресницами, и русые волосы – это, конечно, бабушкино наследство. И должен признаться: наследство это нравилось мне все больше и больше.

– Оставьте ваш адрес, – сказала Додо после второй, кажется рюмки. – Мы вам осенью мандаринов пришлем.

А вообще она будто бы совсем не пьянела, только чуть-чуть хмурила свои тонкие брови, этак сосредоточенно, и взгляды на меня бросала изредка, но чувствовал я, как словно нити между нами протягиваются и будто магнитом тянет меня к этой девчонке. Смотреть на нее, слушать ее было одно удовольствие.

Луна позвала Ваньчу, он приветливо выпил с нами, хотя сел не за стол, а около открытой двери, потому что смотрел одновременно телевизор, который стоял в соседней комнате и который он все же опять включил. Слово за словом, я рассказывал о своей поездке, о многодетных семьях, спрашивали о Москве, в которой никто из троих пока не бывал, я отвечал, потом стал объяснять, почему фотографирую бабочек, да и не только бабочек, а вообще красоту. Сказал, как всегда, что это, на мой взгляд, самое ценное в жизни и разразился, конечно же, комплиментами в адрес Додо... Она сияла, она светилась, молодая жизнь так и искрилась в ней, а еще я сказал, что вижу в ней что-то родственное – моя красивая бабушка в девичестве была на нее похожа...

Потом то ли Ваньча, то ли Луна, кто-то из них пошутил, что Додо, мол вовсе не к чему идти домой, раз она моя родственница, ведь тут в комнате вторая кровать... Погода плохая, завтра воскресенье, в школу Додо идти не надо, а мне одному здесь спать скучно и холодно. Да я ведь, к тому же, и гость.

Все смеялись весело, а Ваньча добавил, что Додо вообще-то взрослая уже девушка, совершеннолетняя (у них это, оказывается, в шестнадцать), а почему бы ей на самом-то деле не переехать, к примеру, в столицу, раз родственница? Тем более, что я сказал ведь уже, что неженат...

Шутки шутками, но видел я, что Додо все больше хмурится как-то напряженно, а шутки Ваньчи и Луны ей нравятся, и смех ее становится нервным. Ах, Додо, милая девочка, думал

я уже весело (хотя почему-то и с грустью), с какой приветливой внимательностью смотришь ты в открытый перед тобой мир, как искренне воспринимаешь жизнь! Надолго ли?... Шутки шутками, но я явственно ощущал, как словно незримые нити протягиваются между нами – мною и этой очаровательной семнадцатилетней девчушкой, – и взгляды, которые она на меня вдруг бросала, проникают в самую душу, и сердце мое, игнорируя разум, колотится гулко, и ком в горле растет.

И ей же Богу, не в том было дело, что мы выпили. А в том, что я вот здесь, сейчас, в сердце Грузии, и слева, совсем близко хмурится сосредоточенно и смеется очаровательная семнадцатилетняя Додо, и смотрит на нас, улыбаясь, добрая Луна, и Ваньча шутит с искренним добродушием, а рядом с нашим домиком – бамбук и пальмы, и горные заросли, и бабочка осталась в моей памяти, в пакетике и на пленке, а за густым пологом туч там, в вышине, светят вечные звезды, и вышла на ночную прогулку луна, неся на холодном, печальном лице своем отблеск горячего солнца! Вот в чем было дело! Золотые минуты...

И еще: не в этом ли – не в таком ли вот веселом бесстрашии радости – как раз и заключен тот самый, так тщательно выискиваемый нами смысл? – радостно думал я. Что-то я должен сделать сейчас, как-то продлить...

И встал вдруг со своего стула у двери и отправился куда-то Ваньча, а за ним вышла и добрая Луна. Мы с девочкой остались вдвоем...

Сейчас, вспоминая, конечно же, фантазирую я: могло бы? В фантазиях очень даже! И не было во всем том никакого подвоха, думаю, хотя теоретически он мог бы конечно быть. Ведь я журналист из столицы, мало ли, что я о них обо всех напишу, бывали случаи, когда организовывали местные власти подставы для журналистов – на всякий случай. И чтобы проверить. Но нет, нет, в тот раз – не было! Даже оскорбительным было бы думать так! А Луна и Ваньча просто поддались атмосфере – возможно, даже услышали, ощутили мысли мои, – к тому же с самого начала заметил я, что оба они слегка равнодушны друг к другу. Вот и вышли оба, чтобы и нас с Додо оставить на какое-то время и самим, так сказать, тет-а-тет оказаться, думаю. Добрые люди... А для меня словно призывный звук трубы прозвучал. Но...

Додо потупилась и как-то напряглась тотчас, когда вышли Луна и Ваньча, а я ощутил, что горло мое пересохло и сердце заколотилось в смятении. Господи, промелькнула мысль, неужели это возможно? Неужели, неужели... Что именно возможно в такой ситуации, я, конечно, не представлял, но что я обязательно должен сделать что-то, сомнению не подлежало. Но что? Это я теперь, вспоминая, фантазирую и могу моделировать что-то. А тогда...

Луны не было минуты три, мы с Додо сидели неподвижно и молча, секунды летели, а я был смущен и растерян. И просто зримо, наглядно, с глубоким прискорбием я ощущал, что золотое время уходит, истекает, иссякает, словно песок в песочных часах, но в голове у меня было пусто, совсем, совсем пусто. Черт побери...

Наконец, Луна вошла, села за стол, а я никак, никак не мог выйти из состояния странного ступора. Но Луна, взглянув на нас тоже как-то странно, вышла опять.

И тут уже, не рассуждая, не мучаясь, во внезапном порыве я вдруг неожиданно для самого себя пробормотал:

– Тебя поцеловать можно?

– Можно... – вся в трепете тотчас ответила девочка.

О, Господи, неужели... Вот он, «тодес»! И я встал со своего стула, шагнул к ней, тотчас встала и она, повернулась ко мне лицом – и я прикоснулся к послушным ее губам, оглушаемый биением собственного сердца, и почувствовал грудью ее совсем недетскую грудь, и ощущал бурное биение ее сердца. Это было мгновенное, сумасшедшее какое-то слияние, и души наши, казалось мне, тотчас тоже как бы соприкоснулись, как и губы, слились. И вспыхнуло, наверное, сияние вокруг нас...

Только бы не вошла Луна!

Но чуть-чуть мы успели. Я сел. Девочка тоже села. Голова моя шла кругом, сладость была во всем теле, сердце чуть ли не грохотало, Но что же дальше, дальше-то что?

Она потупилась, сидела неподвижно и тоже явно была взволнована. Боже мой, но ведь она же совсем девчонка, больше, чем вдвое моложе меня, и я, получается, как бы пользуюсь своим положением столичного корреспондента. К тому же – в Грузии все происходит, где горячий народ. Но... Разумеется, я по-прежнему понятия не имел, что делать дальше... Но...

Да, представьте, я ощущал, что произошло что-то хорошее и произошло правильно, чуть ли не в самом небе произошло даже! Можно сколько угодно посмеиваться и осуждать, но я искренне считаю, что нет в природе нашей ничего серьезнее, чем то, что вот так вдруг возникает внезапно... Эта тайна мужского и женского... Да что там говорить – мы все появляемся на свет в результате этого самого! А для меня, ко всему прочему, нет ничего более уважительного и ценного, если...

Вошла Луна и сказала, что уже поздний час. И как-то вдруг буднично ясно стало, что всем пора по домам. Быстро убрали со стола Додо и Луна, а я по-мальчишески неприкаянно ходил из комнаты в комнату, волнуясь и опять совершенно не представляя, как надо себя вести. Птица-Счастья – или Бабочка-Счастья? – была, кажется, все еще здесь, но...

Додо, казалось мне, вела себя, как ни в чем не бывало, держалась опять как-то по-детски раскованно, хотя и бросала иногда взгляды, от которых сердце мое начинало бешено колотиться. А уходя сказала, чтобы я дал свою рубашку постирать, потому что на ней то ли от закуски, то ли от вина, осталось небольшое пятно. Я снял рубашку и дал. Они ушли.

О, Боже, неужели все было просто так, отчасти даже и во хмелю, неужели жизнь наша – постоянные мелкие хлопоты, страхи, а настоящее где-то там, за тучами, и солнце лишь изредка бросит свой луч, а тучи уже тут как тут, и мы постоянно чего-то боимся, а жизнь наша тем временем уходит, уходит...

Правда, перед уходом мы договорились все же, что завтра... Ведь было все это в субботний вечер, а завтра мы с сопровождающим моим (на четвертый день мне дали уже другого сопровождающего, сравнительно молодого человека, холостяка, такого же, как и я) собирались устроить день отдыха и поехать в Хулеви, к морю. Звали его Олеко, но он почему-то представился мне как Алик, так я и звал его, хотя Олеко, согласитесь, было бы лучше. И вот в воскресенье собирались мы с Аликом... Конечно, если позволит погода. Так что... Сердце замерло, когда я предложил уходившей Додо поехать завтра с нами, и она обещала.

И словно солнце вспыхнуло, когда я представил, как мы будем загорать на песке на солнце завтра, а возможно и плавать вместе в море, и заплывем подальше от всех...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.